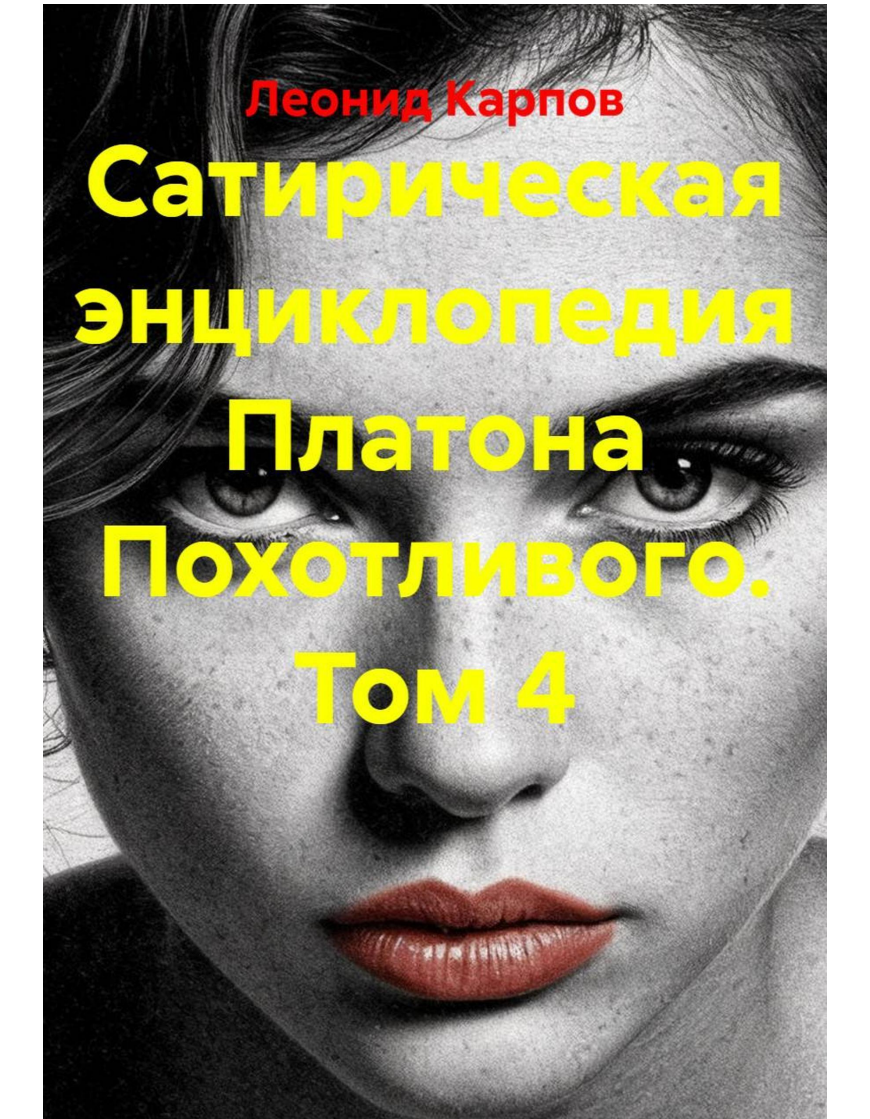




Леонид Карпов

**Сатирическая
энциклопедия
Платона
Похотливого.
Том 4**

Леонид Карпов

Сатирическая энциклопедия

Платона Похотливого. Том 4

<https://litres.ru/74044183>

SelfPub; 2026

Аннотация

Платон Пантелеймонович Похотливый – истинный столп общества и ходячая академия наук. Его ум парит в эмпиреях, щелкая сложнейшие термины как орехи. Но этот благородный муж неизлечимо болен своей навязчивой идеей. Каждая глава этой псевдоэнциклопедии – виртуозный аттракцион, где безупречная лекция о мироздании за пару минут скатывается в бездну площадной ругани и плотских фантазий. Блестящая сатира о том, как опасно заигрывать с высокими материями, имея слишком низкие мысли.

Содержание

Плеоназм	5
Плерома	9
Плюмаж	13
Плюрализм	17
Полиморфизм	20
Политес	23
Политическая каденция	26
Полтергейст	29
Постмодерн, постмодернизм	32
Постулат	35
Почвенничество	38
Преамбула	41
Пребенда	45
Предикативность	48
Предиктор	53
Презумпция	56
Прекариат	59
Препуций	62
Прерогатива	65
Прескриптивизм	69
Преференция	72
Прецедент	75
Прецизионность	78

Приапизм	81
Примогенитура	84
Пробабилизм	88
Пробанд	91
Пробоно, pro bono	95
Провокативная педагогика	98
Провокация	101
Продуцент	104
Прозелитизм	111
Прокрастинация	114
Пролиферация	117
Пролонгация	120
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Леонид Карпов

Сатирическая

энциклопедия Платона

Похотливого. Том 4

Плеоназм

Платон Пантелеймонович восседал в кофейне с таким выражением лица, будто единолично отвечал за соблюдение всех заповедей Ветхого Завета, включая те, что еще не были высечены в камне. Его пенсне отражало осенний петербургский сквер, а в голове громоздились мысли такой чистоты и стройности, что ими можно было бы мостить мостовые в небесном Иерусалиме.

– Взгляните на эту геометрию опадения листвы, – обратился он к случайному соседу, благообразному старичку, занятому написанием sms на кнопочном телефоне. – В этом есть некая высшая избыточность. Мир переполнен смыслами, которые дублируют друг друга. Вот, к примеру, знаете ли вы, любезный, что такое плеоназм?

Старичок вздрогнул. Платон Пантелеймонович, не дожидаясь ответа, воздел палец:

– Плеоназм – это речевое излишество, употребление слов, имеющих одинаковое значение. «Старый старик», «вернуться назад», «внутренняя начинка». Это грех против логики! Зачем уточнять, что «памятный сувенир» – он именно памятный? Это лексический жир, наложение смыслов, которые не несут новой информации, а лишь утяжеляют конструкцию бытия. Это как... как...

В этот момент за соседним столиком официант неловко пошатнулся, и с подноса на скатерть выплеснулось немного молока. Белая лужица медленно поползла к краю стола.

Глаза Платона Пантелеймоновича внезапно застеклились. Интеллигентный блеск пенсне сменился маслянистым мерцанием, а борода чин-пуф угрожающе затопорщилась.

– Вот! – вскричал он, подаваясь вперед. – Посмотрите на это молоко! Оно белое. «Белое молоко» – типичный плеоназм, ведь молоко не бывает фиолетовым. Но вы только вдумайтесь, какая за этим скрывается пошлость. Оно течет. Липкое, парное, наглое. Прямо как ляжки Зинки из чебуречной, когда она в июле свои рейтузы снимает. Там ведь тоже – сплошной плеоназм. «Огромная махина» ее телес. Зачем говорить «жирный жир», когда достаточно один раз шлепнуть по этому холодцу?

Старичок поперхнулся эклером. Платон Пантелеймонович уже не шептал – он хрипел, и его галстук-бабочка съехал набок, как подбитая птица.

– Эти бабы – они же ходячие речевые ошибки! Вот взять

хотя бы «в мае месяце». Зачем уточнять, что май – это месяц? А затем, что в мае у них мандраж начинается, юбки задираются, и вся их бабья суть вываливается наружу, как лишнее слово в предложении. Ты ей говоришь: «Душа моя», а там никакой души, там один сплошной «водный бассейн» похоти. Мокро, глупо и совершенно избыточно.

Он тяжело задышал, обводя кофейню мутным взором.

– Идешь по улице, а там – «молодая девушка». Тьфу! Если она девушка, она и так молодая, пока ее какой-нибудь кобель в подворотне не «отредактирует». А после этого она уже – «старая карга», и это тоже плеоназм, потому что после такой жизни морда у нее сразу становится как подошва у сапожника. Все они – как «ведущий лидер»: лезут вперед, сиськами своими плеонастическими трясут, а внутри – пустота, как в «безоговорочной капитуляции» мужика перед этим мясным прилавком.

Платон Пантелеймонович хлопнул ладонью по столу, перевернув кофейную чашку.

– Сплошные повторы, – прорычал он, глядя на испуганную официантку. – Одно и то же, по кругу, в разные дыры... Лексические, я имею в виду! Вычеркивать их надо, сокращать до самого мяса, до самого потного первобытного вскрика!

Он резко встал, поправил пенсне и, не расплатившись, пошагал к выходу, бормоча под нос: «Горячий кипяток... влажная мокрота... женская вагина... сексуальное либидо... ух,

заразы...».

Плерома

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Мудрость совы», деликатно отставив мизинец от чашки с безлактозным рафом. Его пенсне сияло, как два маленьких нимба, а воротничок был настолько крахмальным, что мог бы служить гильотиной для мелких насекомых.

Платон Пантелеймонович созерцал петербургскую улицу с тем выражением лица, с каким библейские пророки взирают на грешный Вавилон – со смесью скорби и тайного превосходства.

– Мир, – думал он, поправляя галстук-бабочку, – есть лишь несовершенное отражение высшей полноты. Мы все заперты в этой материальной темнице, в то время как истинный свет сокрыт от нас пеленой неведения.

В его голове величественно проплывало понятие Плеромы. Он представлял ее себе как гигантский, залитый божественным неонем вокзал, где обитают эоны – высшие сущности, составляющие целостность божественного бытия.

Плерома в гностицизме – это совокупность всех небесных сил, то абсолютное «Наполнение», из которого по ошибке выпала София, породив наш убогий, кособокий мир. Платон Пантелеймонович искренне считал себя единственным пассажиром на этой станции, сохранившим билет в первый класс.

Вдруг дверь кофейни с грохотом распахнулась. Ввалилась нелепая парочка: румяная дева в коротком пуховике и парень с огромной коробкой пиццы. Дева громко рассмеялась, и капля соуса из коробки упала прямо на белоснежную скатерть соседнего столика.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его левый глаз мелко задергался.

– Вот оно, – прошептал он, и голос его из бархатного тенера внезапно превратился в дребезжащий фальцет. – Типичный пример экструзии из Плеромы в кеному – пустоту. Видите ли вы, милостивые государи, как эта капля томатного субстрата символизирует падение высшего духа в липкую, вонючую материю? Это же чистый гностический акт! София, бедняжка, так же не удержалась и шмякнулась в бездну, породив Демиурга – этого криворукого слесаря, который и состряпал наш мир из говна и палок.

Он подался вперед, впиваясь взглядом в пуховик девицы.

– Плерома – это ведь полнота, понимаете? Истинное блаженство! А что мы имеем здесь? Ошметки, суррогаты! Вот взять хотя бы баб. Ведь баба, если вдуматься – это тоже своего рода попытка достичь Плеромы, но через какое-то совершенно срамное отверстие. Вот ты, милочка, стоишь, зубы скалишь, а в тебе же ни капли эманации света не осталось, одни инстинкты первичные, как у выдры в течке.

Платон Пантелеймонович вдруг резко ослабил галстук. Его лицо пошло багровыми пятнами, а интеллигентная ма-

нера речи начала осыпаться, как старая штукатурка в сыром подвале.

– И ведь логика тут железная, паскудная такая логика! Если Плерома – это все, значит, и в самых гнилых низах она должна как-то брезжить. Но как? Только через самое непотребство! Вот смотрят они на политику, на санкции свои... А я вижу: это же просто фрикции истории! Мир – это огромная, потная кровать, где Демиург-импотент пытается довести человечество до экстаза, а у него только грыжа вылезает.

Он приподнялся, опрокинув раф на брюки, но даже не заметил этого.

– Плерома ваша – это когда все плотно, все заполнено! А у тебя, лахудра ты подзаборная, в башке пусто, зато юбка такая короткая, что там уже не Плерома, а форменный проходной двор. И все лезут, все тычутся в эту кеному, надеясь найти там искру света, а находят только триппер и разочарование. Тьфу! Весь космос – это одна большая, немытая бабища, которая развалилась на небесах и ждет, когда ей какой-нибудь эон вставит по самые гланды, чтобы искры полетели. А летят только слюни да матюки!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, вытирая губы засаленным рукавом некогда щегольского пиджака. Кофейня замерла. Девушка в пуховике испуганно прижала к себе пиццу.

– Чего zenки вылупили? – прохрипел он, окончательно превращаясь в вокзального забулдыгу. – Плеромы захотели?

Щас я вам устрою полноту... официант, тащи водки, а то у меня в духовном плане пересохло!

Плюмаж

Платон Пантелеймонович принадлежал к тому редкому сорту петербуржцев, которые умудряются выглядеть в кофейне так, словно они только что сошли с кафедры Сорбонны или, на худой конец, из античной рощи. Он сидел, окутанный облаком безупречного парфюма и еще более безупречного высокомерия, размышляя о хрупкости бытия и незыблемости классических форм.

Мир вокруг казался ему несовершенным черновиком, который он, обладатель истинного вкуса и энциклопедических знаний, милостиво соглашался редактировать своим присутствием.

«Мир, – думал он, поправляя пенсне, – есть не что иное, как хрупкая фарфоровая ваза, в которую судьба то и дело норовит плеснуть дешевого дегтя. Посмотрите на эти лица! В них нет ни патины веков, ни трепета перед вечностью».

Его взгляд упал на антикварную витрину напротив, где на бархатной подставке покоился великолепный плюмаж – украшение из перьев на старинном кивере.

Платон Пантелеймонович удовлетворенно прищурился. Плюмаж! О, это слово само по себе было гимном истории. Он вспомнил, как в XVIII веке страусовые перья стоили целые состояния, как рыцари Средневековья крепили перья цапли к своим шлемам, чтобы обозначить статус. Плюмаж

– это не просто пучок бородки и ости, это вертикаль духа, триумф вертикального над горизонтальным, символ военного щегольства и придворного лоска.

В этот момент за соседний столик присела дама. Она неловко взмахнула шарфом, и кончик ткани задел чашку Платона Пантелеймоновича. Кофе плеснул на его салфетку.

– Ах, простите, ради бога! – вскрикнула она.

Платон Пантелеймонович медленно повернул голову. Глаза его странно блеснули, а высокопарная складка у рта дернулась.

– Пустяки, сударыня, – произнес он голосом, в котором благородный баритон внезапно дал трещину. – Вы задели меня, как легкий ветерок задевает плюмаж на шляпе гуляющей девки у входа в кабак. Ведь что такое плюмаж, если вдуться в его глубинную, плотскую суть? Это же чистый призыв!

Дама оцепенела. Платон Пантелеймонович подался вперед, и его парфюм с нотками нафталина заполнил пространство.

– Вы посмотрите на этот веер из перьев. Это же природа в ее самом бесстыдном виде. Птица распускает хвост, чтобы что? Чтобы совокупиться! И человек, водрузив на себя этот волосатый отросток, как бы говорит: «Взгляните, я готов к спариванию, я выше всех в этой очереди за случкой!». Плюмаж на офицерской шапке – это просто эрегированный символ его мужской никчемности, торчащий вверх, чтобы бабы

в гарнизоне сразу понимали, кто тут главный осеменитель.

Он облизнул губы, и его взгляд стал маслянистым, растеряв всю эрудицию.

– Вот вы, милочка, машете шарфиком, а у самой в глазах – тот же самый облезлый страус. Плюмаж – это ведь про что? Это про то, как пощекотать там, где чешется. Все эти перышки, все эти пушистые ворсинки... они же созданы, чтобы их в губы совать или по ляжкам возить, когда в номерах жара и потом воняет. Глядишь на такую фифу с пером в причёске и думаешь: «Эх, отодрать бы тебя прямо под этим кивером, чтоб только пух по углам летел, как из распоротой перины в борделе на окраине».

Дама побледнела и схватилась за сумочку.

– А погода-то, – прохрипел Похотливый, уже не скрывая плотоядной ухмылки, – погода сегодня как раз для того, чтобы задрать юбки и зарыться мордой в этот ваш дамский плюмаж, чтоб аж в носу запершило от дешевой пудры и бабьего азарта. Чего вы дрожите? Это же история, это же, мать его, чистое просвещение!

Когда дама с криком выбежала из кафе, Платон Пантелеймонович снова стал суров и величественен. Он промокнул губы салфеткой и вздохнул:

– Убежала. Сразу видно – москвичка или из бывших деревенских. Никакого уважения к историческому контексту чресел. Вот так всегда: хочешь донести до человечества свет истины, а натыкаешься на полное отсутствие эстетического

оргазма.

Плюрализм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Элегия», сжимая пальцами тетрадь с будущими мемуарами и глядя в окно с той благородной грустью, которая обычно свойственна либо великим мыслителям, либо тем, кто очень хочет ими казаться. Солнечный зайчик дрожал на его высоком челе, за которым, быть может, ворочались глыбы государственных смыслов.

– Мироздание суть оркестр, – шептал он себе под нос, поправляя безупречное кашне. – Вся прелесть нашего бытия – в гармонии несогласного. Как важно давать право голоса каждой флейте, каждому фаготу в этом экзистенциальном хаосе.

Темой его сегодняшних размышлений был плюрализм. Платон Пантелеймонович смаковал это слово, как дорогой ликер. Плюрализм – это ведь не просто многообразие, это священное право на существование различных мнений, идеологий и ценностей в рамках одного общества.

Это фундамент демократии, где ни одна истина не имеет монополии, где политический спектр широк, как горизонт, а конкуренция идей ведет к общему благу. Он представлял себе мир как цветущий луг, где каждый сорняк имеет право на свою порцию росы.

Тут за соседний столик присели две девицы в слишком ко-

ротких, по мнению Платона Пантелеймоновича, юбках. Одна из них громко хохотнула и заказала «двойное латте на овсяном».

В голове Похотливого что-то щелкнуло. Его взор затуманился, а высокопарный штиль начал стремительно давать течь.

– Плюрализм, – вслух произнес он, обращаясь к пустой чашке, но косясь на кружевной край подола соседки. – Плюрализм – это ведь, если вдуматься, когда баб много, и все они разные. Вот взять политическую арену: там у нас и левые, и правые, и центристы. Так и в жизни! Одна, значит, либералка – юбчонка по самые glands, все нараспашку, бери – не хочу, полная свобода слова и тела. Другая – консерваторша в глухом чепце, к ней через три забора из колючей проволоки лезть надо, чтоб хоть лодыжку увидеть. И ведь обе имеют право на существование в моем личном парламенте!

Он наклонился вперед, и его голос приобрел неприятную, маслянистую хрипотцу.

– Вы вот, девахи, думаете – кофе пьете? Нет, вы представляете собой многообразие фракций. Одна – как оппозиция, дерзкая, коленками сверкает, лозунги орет. Другая – как правящая партия, сидит солидно, бока наела. А я, как истинный просвещенный монарх, должен их всех... коалицией объединить. Плюрализм – это же когда ты не одной засаленной бабе в халате поклоняешься, а имеешь целый гарем мнений. В одном углу у тебя – радикальная феминистка

для споров в койке, в другом – кроткая доярка для мануальных процедур.

Платон Пантелеймонович уже не шептал, он почти рычал, а его эрудиция окончательно превратилась в липкую жижу.

– Чо вылупились? Это же диалог культур! Вся эта ваша демократия – это просто когда можно легально выбирать между рыжей и драной или черной и потной. Плюрализм идей – это когда я сегодня хочу одну в кустах зажать, а завтра – другую в парадняке прислонить, и никто мне за это импичмент не объявит! Потому что свобода, девки! Свобода – это когда у каждой шкуры есть право голоса, пока я ее за этот голос не придушу в экстазе!

Девицы, похватав сумочки, стремительно ретировались. Платон Пантелеймонович проводил их мутным взглядом, вытер пот со лба и снова открыл книгу.

– Невежество, – вздохнул он, возвращая на лицо маску интеллектуала. – Совершенное неумение вести глубокую дискуссию о судьбах гражданского общества.

Полиморфизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне и, поминутно тяжело вздыхая, читал утреннюю газету, полную тревожных известий о переустройстве мирового порядка. Его ум, привыкший оперировать категориями глобальной стратегии и геополитических сдвигов, болезненно реагировал на малейшую дисгармонию реальности.

«Вселенная трещит по швам от недостатка системной логики, – размышлял он, глядя в окно на пролетающих ворон, – требуется поистине титаническое усилие мысли, чтобы привести этот хаос к единому знаменателю разума».

Но тут в этот храм мысли бесцеремонно ворвалась официантка. Меняя меню на доске, девушка уронила мелок, и тот разлетелся на три аккуратных куска.

– О, – воскликнул Платон Пантелеймонович, подавшись вперед. – Какое наглядное, поистине академическое воплощение полиморфизма! Вы понимаете, что сейчас произошло, милочка?

Официантка замерла.

– Полиморфизм, – наставительно поднял палец Похотливый, – это, если изволите знать, фундаментальная способность системы принимать различные формы, сохраняя единый интерфейс. В программировании это когда один метод делает разные вещи в зависимости от объекта. В биологии

– когда внутри одного вида существуют разные особи, как касты у муравьев. А в химии это вообще песня: одно и то же вещество, а кристаллические решетки разные! Казалось бы, чистая наука, торжество холодного разума...

Он замолчал, и его глаза вдруг масляно заблестели, а голос из бархатного тенора превратился в хриплое клочкотание.

– Но ведь если вдуматься, – зашептал он, обдавая девушку запахом дешевого коньяка, – бабы – это и есть ходячий полиморфизм. Одна и та же субстанция, а формы – закачаешься! Днем она тебе «интерфейс» строит, приличную из себя корчит, книжки в метро читает, а ночью у нее код-то меняется. Реализация метода «любовь» у каждой своя: одна бревном лежит, другая изгибается, как змея под дустом. Это же чистая подмена функций, понимаешь?

Платон Пантелеймонович подался еще ближе, его галстук макнулся в пенку капучино.

– Взять хоть тебя. Сейчас ты официантка, кнопочки на кассе тыкаешь – это один класс объекта. А приди ты ко мне на хату, мы бы такие перегрузки операторов устроили, что у сервера бы крышу снесло. Ты бы у меня и на карачках, и боком, и в припрыжку – вот тебе и полиморфизм в действии, едрить его в корень! Все они одинаковые, пока юбку не задерешь, а там – батюшки, сколько разных реализаций на один и тот же запрос! Природа-матушка – та еще сутенерша, так напрограммировала, что никакой антивирус не поможет, когда этакая «форма» перед тобой коленки раздвинет...

Официантка молча подобрала обломки мела и быстро ушла. Платон Пантелеймонович откинулся на спинку стула, тяжело дыша.

– Наука, – удовлетворенно буркнул он, вытирая рот рукавом, – великая вещь. Против логики не попрешь.

Политес

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Элеганс», придерживая мизинец над чашкой глясе так высоко, будто пытался пощекотать им ангелов. Его лоб, изрезанный глубокими бороздами раздумий о судьбах цивилизации, транслировал окружающим недюжинную скорбь по уходящей эпохе подлинного политеса.

«Политес, – думал Платон Пантелеймонович, благородно раздувая ноздри, – есть единственная подпорка, не дающая зданию человечества рухнуть в бездну хаоса. Это не просто свод правил, это музыка жестов! Истинное искусство обхождения требует от нас тончайшей калибровки каждого поклона. Вспомните французский двор: там дистанция между собеседниками вымерялась до миллиметра, дабы не нарушить сакральный эфир личного пространства. Политес – это броня из бархата!»

Он обвел взглядом зал. В углу юноша в толстовке пил латте, не снимая капюшона. Платон Пантелеймонович содрогнулся. Какой упадок! Политес требует, чтобы мужчина обнажал голову перед входом в храм культуры, коим, безусловно, является приличное петербургское заведение.

Умение соблюдать светские приличия отличает нас от приматов, иерархия приветствий – вот на чем зиждется мир. Сначала старшему, потом даме, и упаси вас бог подать руку

первым, если вы не хозяин дома!

В этот момент за соседним столом произошло непоправимое: официант, споткнувшись о край ковра, уронил поднос. На пол с мелодичным звоном рухнула фарфоровая молочница, и белая жидкость эффектно брызнула на лакированные туфли Платона Пантелеймоновича.

– Ох, простите ради бога! – вскрикнул юноша-официант.

Платон Пантелеймонович замер. В его глазах вспыхнул опасный огонек. Политес предписывал простить неловкость, но ассоциативный ряд уже запустил свой неумолимый механизм.

– Молоко... – прошептал он, глядя на белую лужицу. – Знаете, молодой человек, ваша неуклюжесть – это симптом. Симptom того, что в обществе атрофировалась культура куртуазности. Вот вы пролили молоко, и что я вижу? Я вижу влагу. А где влага, там, как говорил великий Аристотель, зарождается жизнь. Или, если быть точнее, задорная чехарда.

Он наклонился к официанту, и его голос из академического баритона превратился в липкий шепот.

– Вы посмотрите, как оно растекается. Прямо как баба, когда ее хорошенько зажмешь в коридоре после пятого stop-а. Вся эта ваша вежливость – пшик! Политес-шмолитес... Это же просто ширма, чтобы не сразу в лоб спрашивать: «Ну что, лапуля, пойдем за амбар, покажем друг другу звезды?» Вот вы молоко разлили, а у меня перед глазами сразу девка с Васильевского острова, Манька. У нее грудь была – что твои

арбузы, и кожа такая же белая, только потная вся, когда я ее в рощице охаживал.

Платон Пантелеймонович облизал губы, и его эрудиция окончательно испарилась в парах похоти.

– Какая к черту дистанция? Какая иерархия приветствий? Главное в этикете – это вовремя схватить за филейную часть, пока она не убежала. Понимаешь, щегол? Все эти реверансы придумали слабаки, которые не могут девку к стенке притереть так, чтоб у нее кости хрустнули и юбка лопнула по шву. Ты мне туфлю испачкал, а я теперь думаю, как бы эту твою официантку, Ксюху, в подсобке раскорячить и так откатать, чтоб она забыла, как заказы записывать. Сливки общества, манеры... Тьфу! Дай бабе волю – она сама на тебя запрыгнет, и никакой политес не поможет, когда у нее в глазах похоть, а в руках – твои подтяжки.

Он тяжело задышал, глядя на перепуганного юношу.

– Так что ты, малый, не извиняйся. Лучше скажи, Ксюха-то ваша – она как, на передок слабая или ломаться будет? Если будет, то это даже лучше. Люблю, когда верещат, прежде чем обмякнуть...

Платон Пантелеймонович вытер капли молока с туфли носовым платком с вышитой монограммой «ЗП» и, вернув лицу выражение скорби по уходящей эпохе, добавил:

– Впрочем, манеры – это все, что у нас осталось. Счет, пожалуйста.

Политическая каденция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с видом человека, несущего на плечах как минимум судьбу восточноевропейской государственности.

В его руках покоился свежий номер «Ведомостей», а в глазах застыла та специфическая грусть, которая бывает только у людей, перечитавших Шопенгауэра на голодный желудок. Окружающая действительность казалась ему рыхлой и недостаточно структурированной.

«Порядок, – думал Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне, – есть высшая форма эстетического экстаза. Все в подлунном мире должно иметь свой хронотоп, свои границы и, что важнее всего, свой срок истечения».

Его мысли плавно перетекли на статью о каденции. Слово «каденция» он смаковал, как выдержанный коньяк. Он представлял себе четкий ритм политического процесса: вот лицо вступает в должность, вот его полномочия разворачиваются, словно знамя, и вот – неумолимый финал. Срок действия полномочий, этот незыблемый якорь демократии, внушал ему почти религиозный трепет.

– Каденция, – прошептал он в пространство, – это ведь не просто юридический термин. Это гильотина времени, отсекающая произвол от стабильности. Избиратель дает мандат, но мандат этот – не бессрочная кабала, а строгий договор с

датой похорон.

В этот момент за соседний столик приземлилась пышная дама в леопардовом шарфе. Она с грохотом поставила поднос, и капля клубничного сиропа, сорвавшись с ее пирожного, шмякнулась прямо на лацкан безупречного пиджака Платона Пантелеймоновича.

Он вздрогнул. Взгляд его приклеился к пятну, а затем медленно, словно против воли, переполз на пышную грудь соседки, вздымавшуюся под леопардом. В голове что-то щелкнуло. Высокий штиль начал стремительно осыпаться, как штукатурка в старом бараке.

– Вот вы, мадам, – вдруг заговорил он вслух, и голос его приобрел неприятную маслянистость, – вы небось и не знаете, что такое каденция? А ведь это как в любви. Избрали тебя на пост, дали порулить, а ты уже через два года начинаешь смердеть, как несвежая вобла. Срок полномочий – он же как срок годности у бабы.

Дама поперхнулась латте. Платон Пантелеймонович подался вперед, в его глазах зажегся нездоровый огонек.

– Понимаете, какая штука? В политике каденция нужна, чтоб одна и та же харя не примелькалась. А в жизни? Вот взял ты девку, клялся ей в вечной верности, а у нее каденция через три месяца кончилась – жопа обвисла, и риторика сменилась на требование шубы. И все! Мандат доверия аннулирован. Пора проводить новые выборы в своей постели.

Он вытер пятно пальцем и облизал его, причмокнув.

– А то ишь, засядут на должностях! Думают, если им один раз «да» сказали, так можно до гробовой доски на шее ехать. Хрена с два! Принцип ротации – он везде. Сегодня ты депутат в кружевах, а завтра твоя каденция вышла, и ты уже просто старая шкура с одышкой. Политический процесс, мадам, он суров: поимела электорат в течение своего срока – и пошла вон из кабинета, пока молодая смена ляжками не застучала. Срок истек, полномочия сложила, лифчик на гвоздь и в тираж!

Платон Пантелеймонович резко встал, грохнул газетой по столу и, бросив на испуганную женщину взгляд, полный липкого презрения, направился к выходу, бормоча под нос:

– Каденция... ротация... всех в расход, кто больше пятилетки не обновлялся...

Полтергейст

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подперев подбородок указательным пальцем – жестом, который, по его мнению, придавал ему сходство то ли с Вольтером, то ли с разорившимся князем.

Перед ним остывал ячменный кофе, а в уме выстраивались грандиозные анфилады смыслов. За окном моросил серый петербургский дождик, и Платон Пантелеймонович размышлял о бренности бытия и метафизической пустоте современного общества, пока взгляд его не упал на соседний столик.

Там происходило нечто несуразное. Сахарница вдруг мелко задрожала, совершила неуклюжий пируэт и с сухим стуком опрокинулась, рассыпав рафинад. Официантка вскрикнула, а по залу пронесся холодный сквозняк, хотя окна были плотно заперты.

– Классический макроскопический психокинез, – негромко изрек Платон Пантелеймонович, обращаясь к испуганному соседу в роговых очках. – Вы созерцаете полтергейст, милейший. От немецкого *poltern* – шуметь и *Geist* – дух. Это стихийное высвобождение психической энергии, часто связанное к пубертатному периоду или подавленным аффектам. Наука, в лице британского физика Барретта, полагает, что мы имеем дело с невидимой силой, способной переме-

щать предметы, вызывать самовозгорания и странные стуки в стенах...

Он сделал паузу, его глаза за пенсне хищно блеснули.

– Но если вдуматься глубже, – продолжил он, и голос его из бархатного баритона стал превращаться в маслянистый шепот, – природа полтергейста насквозь порочна. Ведь что есть этот «шумный дух»? Это же чистейшей воды домогательство из астрала. Вот возьмем эту сахарницу. Она ведь не просто упала. Она развалилась, как Лизка из третьей парадной после двух стопок портвейна «777». Та тоже, знаете ли, начинает вибрировать и метаться по дивану, пока из нее все содержимое не вытрясешь.

Сосед поперхнулся кофе, но Платона Пантелеймоновича было уже не остановить. Высокая материя с треском лопнула, обнажив нутро старого кобеля.

– Это ведь физика, батенька! Полтергейст всегда ищет медиума, объект для разрядки. А бабы – они же те же медиумы, только с грудями. У них внутри постоянно что-то шуршит, стучит и требует выхода. Вот эта официантка – посмотрите на ее лодыжки! У нее же в чреслах такой полтергейст сидит, что никаким экзорцизмом не вышибешь, только жестким... хм... механическим воздействием. Она же сама мечтает, чтобы ее об стенку приложило, как тот чайник.

Платон Пантелеймонович подался вперед, обдав собеседника запахом дешевого табака и вожделения.

– Вы думаете, духи просто так мебель двигают? Да они

подсматривают! Летает такой невидимый козел по спальням, щели ищет. Полтергейст – это же когда у мироздания чешется в самом нескромном месте. Вот и у меня сейчас, знаете ли, такая аномалия в штанах образовалась – чистый феномен парапсихологии, твердый, как дубовый буфет при перемещении. Гнать надо этих духов, милейший, или, наоборот, зазывать на сеновал, если они в женском обличье и с пониженной социальной ответственностью...

Сосед спешно бросил купюру на стол и ретировался. Платон Пантелеймонович посмотрел ему вслед с глубоким сожалением об ограниченности человеческого ума, почесал колено и снова уставился на сахарницу, гадая, не согласится ли она на свидание в сумерках.

Постмодерн, постмодернизм

В тот день Платон Пантелеймонович Похотливый выбрал кофейню с многозначительным названием «Смерть клиента», находя в этом горькое торжество над обществом потребления: здесь не обслуживали тело, здесь препарировали дух.

Перед ним лежал нетронутый эклер и томик, на обложке которого золотом горело имя Бодрийяра. Платон Пантелеймонович взирал на мир с той меланхоличной брезгливостью, которая свойственна лишь людям, точно знающим, что реальность давно заменена копией без оригинала.

«Симулякр, – думал он, глядя на проходящую мимо даму в шляпе. – Всего лишь репрезентация образа, лишенная сакральной сути. Мы живем в эпоху тотальной иронии, где даже этот кофе – не кофе, а цитата из меню, деконструкция бодрости».

В этот момент за соседним столиком произошло событие ничтожное, но фатальное. Молодой человек в очках, пытаясь достать блокнот, неловко задел ложечкой чашку. Раздался тонкий, дребезжащий звон, и капля латте упала на раскрытую страницу книги.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его глаз дернулся, а в голове закрутились шестеренки железной, неумолимой логики.

– Вот оно! – воскликнул он, подавшись вперед и обраща-

ясь к опешившему юноше. – Вы видите? Это же идеальная иллюстрация нашего бытия! Вы только что совершили акт деконструкции смыслов. Понимаете ли вы, юноша, что такое постмодернизм в своей нагой, бесстыдной сути? Это когда иерархии рушатся, когда высокая культура и низкий быт сливаются в экстазе хаоса. Это игра, где нет правил, а есть только бесконечные интерпретации.

Юноша попытался извиниться, но Похотливый уже не слышал. Он вошел в пике.

– Мы отрицаем метанарративы! – гремел Платон Пантелеймонович, и его голос начал приобретать странную, липкую хрипотцу. – Постмодерн – это ведь как растянутая ширина бытия. Мы все деконструируем, все превращаем в коллаж. Вот вы пролили молоко. Это пастиш! Это цитирование хаоса. А знаете, что еще является пастишем? Женская натура, мил человек. Она ведь тоже вся из фрагментов состоит, из цитат старых любовников и фальшивых восторгов.

Он облизнулся, и его благообразный облик начал стремительно оплывать, как дешевая свеча.

– Гляньте на ту бабу у окна, – он ткнул пальцем в сторону интеллигентной дамы. – Думаете, там душа? Черта с два! Там сплошной интертекст. Она же как старая газета: все ее читали, все подчеркивали, а толку? Постмодерн учит нас, что истины нет, есть только процесс потребления. Вот я ее сейчас деконструирую взглядом – и вижу, что под этой юбкой скрывается не смысл жизни, а банальный симулякр ее

вчерашних походов с каким-нибудь кавалером в общаге.

Платон Пантелеймонович придвинулся ближе, обдав юношу запахом несвежего коньяка и интеллектуального тления.

– Весь мир – это просто куча тел, наваленных друг на друга в поисках кайфа, прикрытая умными словами. Свобода – это когда ты понимаешь, что любая филологическая деваха – это просто текст, который хочется порвать по швам. Все эти смыслы, все эти Бодрийяры... они же как презервативы: защищают от реальности, но мешают чувствовать настоящую, потную, грязную жизнь. Понимаешь, паря? Мы все в одной большой постели, где вместо одеяла – цитаты, а вместо любви – механическое трение органов, которое мы называем «диалогом культур».

Он тяжело задышал, глядя на остатки эклера так, будто тот только что сделал ему непристойное предложение.

– Постмодерн, – прошептал он, вытирая пот со лба. – Это когда уже неважно, кто сверху, главное – чтобы ирония была поострее, а баба – поразвратнее в своих метафорах. Тьфу, принесите водки, я чувствую потребность в тотальной аннигиляции субъектности.

Постулат

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна кофейни, сложив руки на животе с таким видом, будто он только что закончил редактировать мироздание и остался доволен лишь пунктуацией. Взгляд его, подернутый дымкой интеллектуального превосходства, покоился на капле дождя, медленно ползущей по стеклу.

«Мир есть строгая иерархия смыслов, – думал Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне. – Все в нем зиждется на незыблемых основаниях, на тех гранитных плитах духа, которые мы называем постулатами».

Он с наслаждением прокрутил это слово на языке. Постулат! Истина, принимаемая без доказательств в силу ее самоочевидности или теоретической необходимости. Это вам не жалкая гипотеза, требующая подтверждений, опытов и суеты. Постулат – это царственный жест мысли, отсекающий сомнения.

Как говаривал Эвклид или кто-то столь же признанный в приличном обществе: «Да будет так, ибо иначе – нелепица». На постулатах стоят геометрия, физика и само здание нашей хрупкой цивилизации. Не нужно доказывать, что параллельные прямые не жаждут встречи в бесконечности – это аксиоматический фундамент, на котором мы возводим храм логики.

В этот момент за соседним столиком молодая официантка в тугом фартуке неосторожно задела подносом край стола. Кофейная ложечка с мелодичным звоном упала на паркет, а сама девушка, охнув, нагнулась, чтобы ее поднять.

В голове Платона Пантелеймоновича что-то щелкнуло, словно в старом патефоне сменили пластинку. Высокий штиль Эвклида мгновенно сменился хриплым дыханием питерской подворотни.

– Вот он, живой пример неопровержимости! – пробормотал он, и его глаза подозрительно заблестели. – Посмотрите на этот изгиб спины. Разве это не чистейший постулат? Тут ведь никакой доказательной базы не требуется, все и так на виду, прямо в глаза лезет. Любая геометрия меркнет перед этой выпуклой истиной.

Он подался вперед, впиваясь взглядом в натянутую ткань юбки.

– Ведь что такое, по сути, аксиома? Это когда тебе не надо объяснять, почему хочется вцепиться в этот «фундамент» обеими руками. Мировая политика, говорите? Санкции? Да это все чушь собачья по сравнению с неоспоримым фактом наличия этой фифы в этом самом пространстве. Видите, как у нее бедра ходят, когда она выпрямляется? Это же за гранью логики, это природная гнильца, которая слаще любого варенья.

Платон Пантелеймонович шумно втянул носом воздух, забыв о пенсне, которое теперь криво свисало с его красного

уха.

– Зачем мне доказывать, что бабы – это источник вечно-го зуда под кожей? Это постулат, мать его! Вот она пошла, вихляя кормой, и в башке у меня уже не Кант, а сплошные срамные картинки. Ты ей про высокие материи, про параллельные прямые, а она тебе – зырк глазищами, и ты уже готов ползать за ней, как кобель облезлый, только бы в щелку подглядеть. Тьфу! Грязь, копоть, а все равно тянет, потому как аксиома: сучка не захочет – кобель не вскочит. И никаких теорем, господа, одни голые инстинкты в потных ладошках.

Он тяжело опустился на стул, тяжело дыша и глядя на пустую чашку с таким видом, будто она только что его глубоко оскорбила своим нежеланием раздеться.

Почвенничество

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел у окна чебу-речной «У Достоевского», благостно взирая на еле плету-щиеся автомобили. В его лысеющей голове царил абсолютный космос.

Платон Пантелеймонович мнил себя последним оплотом истинной русской мысли. Он ментально воспарял над сует-ным миром, перебирая в уме основы славянофильства и тру-ды поздних народников. Мир казался ему стройным здани-ем, где каждый кирпичик дышал глубоким смыслом.

За соседним столиком двое студентов спорили о судьбах Родины. В их незрелом лепете то и дело мелькало слово «почвенничество». Платон Пантелеймонович снисходитель-но улыбнулся в козлиную бородку. О, эти юнцы ничего не смыслят в великом философском течении девятнадцатого века.

Почвенничество – это вам не просто любовь к деревне. Это религиозно-философское направление, зародившееся в тысяча восемьсот шестидесятых годах. Его главные пропо-ведники – Федор Достоевский, Аполлон Григорьев, Николай Страхов.

Суть идеи – в «возвращении к почве», то есть к народ-ным началам, к самобытности, в слиянии образованного об-щества с простым крестьянством. Почвенники отрицали и

гнилой западный капитализм, и безбожный социализм. Они верили в особый, уникальный путь России, основанный на крестьянской общине и православии.

В этот момент за окном произошло роковое событие. Дородная торговка в цветастом платке, несшая ведро парного молока, споткнулась о бордюр. Ведро перевернулось. Жирная белая жидкость хлынула на пыльный асфальт, мгновенно впитываясь в сухую землю.

Платон Пантелеймонович замер. Глаза его лихорадочно блеснули. Он резко обернулся к испуганным студентам и заговорил густым, проповедническим баритоном:

– Видали? Вот вам и метафора! Почва! Земля-матушка жадно поглощает сок жизни. Именно об этом кричали наши великие мыслители! Интеллигенция оторвалась от корней, как это молоко от ведра. Но стоит истинной, природной стихии соприкоснуться с землей, как начинается великое таинство слияния. Народная душа – она ведь как эта самая почва. Рыхлая, теплая, готовая принять в себя любое семя. Да-да, семя, молодые люди! Ведь что есть русская баба в поле, если рассматривать ее через призму Григорьева? Это же чистый чернозем!

Голос Платона Пантелеймоновича внезапно сорвался на сиплый фальцет. Он подался вперед, брызжа слюной на клеенку. Высокопарный тон начал стремительно осыпаться, обнажая совсем иную глубину его эрудиции.

– Вы посмотрите на эту торговку! Корма – во! Чистая Во-

логодская губерния. Такая как ляжет в борозду, так из нее сразу дух предков прет. И ведь славянофилы правы: западные фифы – они же сухие, как картон, тьфу! Ни соку в них нет, ни мяса. А наша девка – это ж сокровище. Прижмешь такую на сеновале, штаны трещат, портянки преют, а она орет дурниной, потому что корни чувствует! Понимать надо! Вся эта ваша национальная идея в бабьих сиськах шестого размера зарыта. Почва требует орошения, сечете? Мужик должен пахать! И пахать не плугом, а своим родным, коренным инструментом, чтоб аж хруст стоял по всей волости! Вот вам и весь Достоевский, вот вам и слияние сословий, когда барин кухарку на завалинке на карачки ставит, а из нее аж дух православия прет от удовольствия!

Студенты в ужасе схватили свои рюкзаки и боком попятились к выходу. Платон Пантелеймонович, уже не замечая их, тяжело дышал, расстегивал верхние пуговицы рубахи и плотоядно смотрел на разлившееся молоко, в котором отражалось майское небо Санкт-Петербурга.

Преамбула

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», подпирая лоб костлявым пальцем. Вид он имел крайне величественный, какой бывает только у людей, лично знакомых с причинами падения Римской империи и устройством квантового осциллятора. Перед ним лежала газета, и взор его, затуманенный великими думами, скользил по строкам о мировом кризисе перепроизводства.

– Избыточность материального бытия, – цедил он сквозь зубы, – есть лишь манифестация неупорядоченного духа. Мы тонем в вещах, потому что утратили метафизическую вертикаль.

Мысли Платона Пантелеймоновича текли плавно, как патока, огибая острые углы быта и возносясь к высотам чистой логики. Вокруг него шумел Санкт-Петербург, сустились официанты, но он пребывал в эфирных сферах, где экономические циклы Кондратьева нежно переплетались с преамбулой к всеобщему благоденствию.

Преамбула, к слову, занимала его сейчас больше всего. Платон Пантелеймонович обожал введения. Он видел в них корень сущего. Ведь что есть преамбула? Это торжественное вступление, декларация намерений, та самая увертюра, без которой симфония жизни превращается в беспорядочный лязг.

В международном праве она задает вектор, в законах – дух, в отношениях людей – ту самую дистанцию, которая отделяет цивилизацию от дикости. Платон Пантелеймонович мог часами рассуждать о важности экспозиции, о том, как правильно поданная вводная часть структурирует хаос. Без преамбулы мир – это просто куча навоза, а с ней – уже философская концепция.

В этот момент за соседним столиком молодая особа в ярко-красном берете случайно уронила на пол эклер. Пирожное шлепнулось кремом вниз, издав сочный, бесстыдный звук.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его взгляд сфокусировался на расплывшемся пятне сливок.

– Вот оно, – прошептал он, и в глазах его загорелся нехороший, желтоватый огонек. – Типичный пример нарушения причинно-следственных связей. Казалось бы, кондитерское изделие, гравитация... Но если вдуматься глубже, коллега, – обратился он к пустому стулу, – тут кроется корень женской деструктивности.

Он выпрямился, одернул пиджак и заговорил громче, уже не заботясь о приличиях:

– Ведь этот эклер – это же чистая аллегория! Вы посмотрите, как он развалился. Жирно, подло, выставив напоказ нутро. Это же как бабы в трамвае в час пик. Сначала она тебе про преамбулы поет, про театры да филармонии, глазки строит, как будто у нее там внутри сплошной Кант и катего-

рический императив. А чуть задень – и вся эта глазурь летит к чертям, и наружу вываливается вот это... липкое, расхристанное месиво.

Он подался вперед, его голос приобрел хриплые, сальные нотки.

– А я ведь знаю, что у них под беретами. Там не Ницше, там сплошной учет и контроль над мужским кошельком. Сидит такая, губы накрасила, а сама думает, как бы поудачнее этот свой эклер пристроить. И ведь пристроит! Заманит в свою душную спальню, где пахнет дешевой пудрой и вчерашними щами, скинет шмотки – и все, привет, приехали. Там уже никакой метафизики, одна сплошная анатомия и потные простыни.

Платон Пантелеймонович уже почти кричал, брызгая слюной на газету с новостями политики.

– И погода туда же! Сегодня солнце, а завтра – слякоть, как из-под хвоста. Прямо как эта Лизка из третьей парадной. Выйдет – вся такая фифа, каблуками цок-цок, а сама, стерва, вчера с сантехником в подсобке зажималась, я сам видел через щель! Ржали, сволочи, и воняло от них перегаром и дешевым куревом. Вся эта мировая гармония – просто ширма для того, чтобы эти девки могли свои ляжки пошире раздвинуть и тянуть из нас соки, пока мы, интеллектуалы, о высоком грезим! Тьфу, срамота одна, а не цивилизация... Дайте еще кофе, и покрепче, а то от этой вони праведности тошнит!

Он тяжело задышал, глядя на несчастную девушку в берете так, будто она лично разрушила Карфаген и его собственную жизнь в придачу.

Пребенда

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Ветхий Адам». Его пенсне сияло, а в руках он держал свежий номер газеты, похрустывание которой доставляло ему почти эстетическое наслаждение.

«Мир – это строго выверенная структура, – мыслил он, глядя в окно на прохожих. – Порядок, иерархия, чин. Все в подлунном пространстве стремится к гармонии пребенды».

Платон Пантелеймонович обожал слово «пребенда». Ему нравилось, как оно перекачивается на языке, словно дорогой леденец. Для непосвященных пребенда была лишь историческим термином – правом на доход с церковной или государственной должности, своего рода кормлением без обязательного исполнения духовных обязанностей. Но для Похотливого это была философия. Он видел в ней суть бытия: право получать лучшее, просто по факту своего существования и статуса.

– Вот посмотрите на этот фикус, – обратился он к официанту, указывая на чахлое растение в углу. – Он получает свою пребенду в виде полива и солнечного света, не принося плодов. Это закон природы, юноша. Как в средневековой Европе каноник владел землями, так и мы владеем правом на внимание мира.

Тут случилось событие, нарушившее покой. За соседний

столик присела дама в излишне тесном шелковом платье. Она достала пудреницу, и та со звонким стуком упала на пол, раскрыв содержимое.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его взор, доселе устремленный в эмпирию духа, резко спикировал на любимую тему.

– Пребенда... – пробормотал он, и голос его из бархатного баритона превратился в хриплое шуршание. – Вот она, истинная пребенда. Видите ли, мадам, вы уронили предмет, но подняли бурю в моих размышлениях. Ведь женщина – это тоже своего рода церковный приход. Она требует содержания, инвестиций, как бенефиций в старой Франции, но что она дает взамен?

Он подался вперед, пенсне опасно повисло на кончике носа.

– Вы думаете, я о высоком? Бросьте. Вся эта ваша социальная пребенда – лишь ширма. Вы сидите тут, обтянутая этим шелком, как колбаса «Краковская», и ждете, когда какой-нибудь дурак начнет оплачивать ваш стол, считая это своим долгом. А долг-то – он в другом!

Его глаза лихорадочно заблестели, а тонкая ирония сменилась сальным прищуром.

– Все эти ваши кружева, мадам, – это же чистая спекуляция на мужском инстинкте. Вы как тот поп из тринадцатого века: десятину собираете, а молиться за спасение души не спешите. И ведь какая сука эта природа! Сначала она манит

нас этой вашей... пребендой, обещает райские кущи, а на деле – сидишь ты в пять утра в холодном нужнике жизни и думаешь: и за это я платил оброк? За эти ляжки, которые уже через год станут как просроченное желе?

Дама испуганно округлила глаза, а Платон Пантелеймонович уже не мог остановиться. Его лоск осыпался, как штука-турка в дешевом притоне.

– Пребенда, говорите? Да я бы вас, голубушку, на такую пребенду посадил, что у вас бы корсет лопнул! Вы же все только и ждете, чтоб вам в клювик положили, а сами только и умеете, что хвостом крутить да духами вонять. Иерархия у них! Порядок! Да весь ваш порядок заканчивается там, где начинается расстегнутая пуговица. Тьфу, срамота... официант, неси еще водяры, а то эта пребенда у меня уже в горле комом стоит! И снимите с меня это пенсне, оно мешает мне видеть грех во всей его нажористости!

Предикативность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Ампи́р», сложив пальцы домиком. Над его высоким лбом витала аура такой нестерпимой интеллектуальности, что официантки невольно поправляли передники, чувствуя себя недостаточно античными. Платон Пантелеймонович созерцал мир сквозь пенсне, и мир казался ему плохо отредактированным черновиком.

– Логос дремлет в чашке этого паршивого цикория, – прошептал он, глядя на пузырьки пены. – Все сущее жаждет структуры.

В этот момент за соседним столиком студентка в растянутом свитере открыла учебник и громко вздохнула:

– Ох уж эта предикативность! Совсем не дается.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его ноздри расширились. Он медленно повернул голову к девушке, и в его глазах вспыхнул огонек, который обычно предвещает либо научный диспут, либо административный протокол.

– Душа моя, – пропел он голосом старой виолончели, – не стоит так сокрушаться. Предикативность – это ведь всего лишь душа предложения, его актуальная связь с реальностью. Это то, что превращает мертвый набор слов в живое утверждение. Без предикативности, милочка, мы имеем лишь кучу имен, а с ней – мы имеем Время, Модальность и

Лицо. Понимаете? Мы соотносим содержание мысли с действительностью!

Студентка испуганно кивнула. Платон Пантелеймонович придвинулся ближе, его тон стал вкрадчивым, а пенсне подозрительно запотело.

– Вот возьмите, к примеру, само понятие «соотнесения». Мы берем субъект и приписываем ему признак. Но ведь это чистейшей воды акт... обладания! Предикат наваливается на субъект, доминирует над ним, впивается в него своими грамматическими категориями. Вы говорите: «Женщина идет». Где здесь реальность? В движении! В том, как ее формы пересекают пространство, утверждая свое существование в настоящем времени, в изъявительном наклонении!

Платон Пантелеймонович вдруг резко ослабил галстук. Его высокопарный слог начал давать трещину, сквозь которую полезло нечто бурое и немытое.

– А теперь представьте, – прохрипел он, и слюна блеснула в углу рта, – что предикативность – это когда баба не просто «есть», а когда она «дает»... повод для высказывания. Вот стоит она, кобыла такая, в модальности возможности. И ты, как суровый предикат, должен ее, извиняюсь, актуализировать. Чтобы она не просто существительным в падеже валялась, а чтобы глагол в ней заиграл, понимаешь? Чтобы время было прошедшее, многократное, со стонами и потом!

Студентка начала медленно отодвигаться вместе со стулом.

– Что ты на меня смотришь, как на синтаксический разбор? – Платон Пантелеймонович уже почти кричал, перейдя на сочный бас подворотни. – Предикативность – это когда реальность тебя за горло берет! Это когда ты ее к стенке прижал, и тут уже не до философии, тут наклонение только повелительное: «Скидывай, Лизка, панталоны, сейчас будем связь с действительностью устанавливать!» Предикат у него не идет, ишь ты... Да у меня такой предикат, что любая предикация в экстазе зайдется, до самого подлежащего пробежит, до костей, до этой самой... до семантики!

Он тяжело задышал, глядя на пустую чашку. Студентка исчезла, оставив на столе шарф. Платон Пантелеймонович замер, глядя на брошенный в панике шерстяной трофей. Шарф лежал на стуле беспомощной кучей, сохранив изгибы шеи своей недавней владелицы, и в глазах Похотливого это была уже не просто вещь, а вопиющий случай неоконченного синтаксического акта.

– Бросила... – просипел он, и его рука, еще минуту назад изящно державшая ложечку, теперь хищно потянулась к мягкой ткани. – Типичный пример эллипсиса. Намеренное опускание элемента, без которого, однако, контекст становится еще более... порочным.

Он схватил шарф и поднес его к лицу. Тонкий аромат дешевых духов и девичьего пота ударил в голову, окончательно вышибая из нее остатки античного Логоса.

– Глядите-ка, как она его оставила! Это же не просто ак-

сессуар, это же расширение субъекта! Она ушла, а предикат-то остался висеть в воздухе, как неприкаянный... – Платон Пантелеймонович вдруг жадно зарылся носом в шерсть, издавая звуки, средние между всхлипом и рыком. – Предикативность, значит, не дается? Да ты сама – сплошное придаточное предложение, которое так и просит, чтобы в него ворвались с главным!

Он сжал шарф в кулаке, и костяшки его пальцев побелели. – Ткань-то какая... рыхлая, податливая. Как и вся их бабья логика. Сначала они строят из себя сложные синтаксические конструкции с двойным дном, а стоит прижать их к реальности – и все, рассыпаются на междометия. «Ой», «ах», «не надо, Платон Пантелеймонович»... А сама-то небось спит и видит, как ее, бесхозную такую, употребят во всех залогах сразу! Чтоб до самого корешка, чтоб префикс затрещал!

Официант, решившийся подойти за счетом, в ужасе застыл: почтенный господин в пенсне с тихим стоном жевал бахрому шарфа, бормоча что-то о «несогласованном определении в грубой форме».

– Что смотришь, ирод? – рявкнул Похотливый, заметив парня. – Не видишь, человек занимается морфологическим анализом? Вали отсюда, пока я тебе не приписал категорию состояния... крайне тяжелого!

Он резко встал, запихивая шарф в карман пальто так, что один конец остался торчать, словно неприличный язык.

– Пойду, – выдохнул он, и в его взгляде заплясали черти из самых грязных подворотен. – Пойду, найду эту... носительницу языка. Нужно же довести это высказывание до логического, так сказать, конца. До полной, глубокой актуализации.

Предиктор

Платон Пантелеймонович Похотливый взирал на окружающую действительность с той кроткой укоризной, с какой античный полубог мог бы смотреть на нерасторопную прислугу.

Сидя в кофейне, он изящно обмакивал бисквит в пену, и в каждом его жесте сквозила такая невыносимая эрудиция, что даже мухи на сахарнице казались существами образованными. Его мысли, чистые и холодные, как мрамор, витали в сферах высшей социологии и метафизического порядка, где нет места человеческой суете, а есть лишь строгая музыка мировых законов.

– Мир – это не просто сумма случайностей, – шептал он в пенку кофе, – мир – это структура, подчиненная Высшему Смыслу.

В этот момент официант, споткнувшись о край ковра, опрокинул поднос с минералкой прямо на свежий номер газеты «Вестник Глобализма». На передовице расплылось пятно, скрыв заголовок о кибернетике.

Платон Пантелеймонович выпрямился. Глаза его хищно блеснули.

– Вот оно! – восклицательно пробормотал он, обращаясь к испуганному юноше в фартуке. – Вы, любезный, сейчас стали инструментом Провидения. Вы продемонстрировали дей-

ствие Предиктора. Вы ведь знаете, что это такое? Это не просто слово из словаря высоколобых зануд. Предиктор – это предсказатель, математическая сущность, таинственный алгоритм или даже социальный механизм, который на основе текущих данных вычисляет будущее состояние системы. Это та невидимая рука, которая знает, куда упадет капля, прежде чем она покинула стакан. Это корень управления, понимаете? Высшая форма доминирования через предвидение реакции среды!

Официант попятился, но Платон Пантелеймонович уже вошел в раж. Его голос, поначалу бархатный и лекторский, начал приобретать странные, хриплые обертоны. Высоколобая логика сделала резкий выраз.

– Ведь Предиктор – он же как... как баба, прости господи. Он же не просто так считает, он же соблазняет систему подчиниться его прогнозу. Вот вы, юноша, смотрите на этот мокрый газетный лист, а я вижу в нем Дашку из отдела маркетинга. У нее ведь тоже логика – чистый Предиктор. Она когда юбку выше колена задирает, она уже просчитала, сколько слюней выделит коллектив и на какой секунде начальник отдела потечет, как этот ваш швепс. Это же чистая кибернетика! Она входит в курилку, и все – траектория движения мужских рук уже задана этим чертовым алгоритмом ее ляжек.

Платон Пантелеймонович подался вперед, смахнув на пол ложечку. Его галстук съехал набок, а лицо приобрело отте-

нок перезрелого томата.

– Ты думаешь, мировая закулиса планетой правит? Хрена с два! Предиктор – это когда баба заранее знает, что ты ей заложишь квартиру ради одной ночи в Мурино. Она – субъект управления, а ты – просто дефектная переменная в ее влажном расчете. Весь космос, милок, это одна большая, потная бабища, которая манит тебя Предиктором, а в итоге оставляет в одних подштанниках на морозе истории. И вот это пятно на газете... оно же формой как декольте той вдовы с третьего этажа, которая вчера так предсказуемо манила меня своим «заходите на чай», а сама, сука, даже чекушку не открыла, пока я ей полку не прибил! Тьфу, сплошное манипулирование массами через низменные инстинкты прогнозирования!

Он тяжело задышал, глядя на мокрую газету с выражением горького вожделения, и потребовал счет, ибо Предиктор в его голове уже безошибочно вычислял, через сколько минут его попросят покинуть заведение.

Презумпция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто единолично нес на плечах купола Троице-Измайловского собора. Его пенсне отражало осеннюю хмарь, а мысли парили в эмпиреях высокого права.

– Презумпция, – шептал он, пробуя слово на вкус, как засахаренную фиалку. – Основание здания цивилизации. Человек невиновен, пока его вина не доказана в суде. Какое изящество юридической мысли! Какая защита личности от произвола толпы!

Он окинул зал взглядом пророка. Вокруг суетились обыватели, не сознающие, что их покой зиждется на презумпции авторства, презумпции добросовестности и, главное, презумпции невинности. Платон Пантелеймонович поправил тугой воротничок, чувствуя себя последним бастионом законности в этом хаосе бытия.

В этот момент за соседним столиком официант неловко взмахнул подносом, и чашка эспresso с глухим плеском обрушилась на белоснежную скатерть.

– Ой, простите! – пискнул юноша. – Я не хотел, оно само...

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его правый глаз задергался, а в голове щелкнула невидимая шестеренка.

– «Само»? – переспросил он, и голос его из бархатного ба-

ритона вдруг превратился в дребезжащий фальцет. – Невинновен, значит? Презумпция, говоришь? А ведь если вдуматься, юноша, презумпция – это же самая гнусная ширма для разврата. Вот стоит баба, на вид – чистый ангел, в белом платочке, а ты обязан считать ее порядочной, пока не застукаешь ее в нумерах с тремя гусарами и коновалом!

Он подался вперед, смахнув локтем сахарницу. Облик просветителя осыпался, как старая штукатурка.

– Это ж какая лазейка для этих... – Платон Пантелеймонович жадно облизнулся. – Идешь ты по улице, видишь – фифа хвостом крутит, юбка в обтяжку так, что каждый бугорок видать. По всем законам природы понятно: ищет, где бы пристроиться поудобнее. А закон мне в морду тычет: «Нет, Пантелеймоныч, презумпция! Считай, что она в библиотеку идет Гете читать». А у нее в глазах-то – не Гете, у нее там сплошное непотребство и желание, чтоб ее в подворотне об забор приложили!

Похотливый вскочил, опрокинув стул. Лицо его пошло красными пятнами.

– Мы же на этой презумпции всю мораль профукали! Если бабу нельзя сразу обвинить в том, что она шлюха, то она ею обязательно станет, пользуясь твоим доверием! Это ж стратегия такая: строить из себя недотрогу, пока ты, дурак, ей смартфон покупаешь. А под юбкой-то у нее, я извиняюсь, пожар в борделе! Презумпция – это когда она тебе говорит «голова болит», а сама в мыслях уже с соседом на сеновале

кувыркается, и ты, как законник хренов, должен ей верить, пока пот с нее градом не покатится! Тьфу, срамота юридическая! Все они виновны по факту наличия первичных и вторичных признаков, и нечего тут суды разводить, когда и так понятно, на что этот товар заточен!

Он шумно высморкался в грязный платок и, не глядя на онемевшего официанта, побрел к выходу, бормоча под нос:

– Доказывать им еще... Вина у них не доказана... Да там по одной походке видно – клейма ставить негде, прости господи...

Прекариат

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у газетного ларька, облеченный в достоинство и изрядно потертое кашемировое пальто. Взгляд его, подернутый дымкой экзистенциальной грусти, скользил по названиям журналов. Мир, по мнению Платона Пантелеймоновича, окончательно утратил метафизическую вертикаль.

«Десакрализация бытия, – думал он, поправляя пенсне на шнурке. – Мы тонем в зыбучих песках постмодерна, где ценность человеческого духа нивелирована до состояния рыночного дериватива».

Особенно его занимала концепция прекариата. Этот термин он смаковал, как дорогой херес. Прекариат – новый класс, лишенный социальных гарантий, живущий в вечном «завтра», которое может и не наступить. Люди-флюгеры, чья занятость случайна, а статус – призрачен.

Платон Пантелеймонович видел в этом высшую трагедию эпохи: отсутствие стабильного контракта с жизнью превращало современника в кочевника без крова и права на оплачиваемый отпуск души.

В этот момент мимо с грохотом пронеслась пышная девица на электросамокате. Колесо попало в выбоину, девица взвизгнула, короткая юбка взметнулась, обнажив розовое кружево и мощное бедро, прежде чем она, выровнявшись,

умчалась вдаль, обдав Платона Пантелеймоновича запахом дешевого вейпа «Земляника».

Пенсне сорвалось с переносицы.

– Вот оно! – воскликнул Похотливый, и в глазах его вспыхнул недобрый, фосфорический огонь. – Наглядная диалектика неустойчивости! Она – чистый прекарий. Ни страховки, ни твердой почвы под ногами, одни лишь краткосрочные обязательства перед гравитацией.

Он огляделся, ища слушателя, и вцепился в пуговицу случайного прохожего.

– Вы видели? – зашипел он. – Это же и есть лицо современного рабочего класса! Полная прекаризация! У нее нет трудовой книжки, зато есть это розовое... это... мещанское безумие. Вы понимаете, к чему ведет отсутствие постоянно-го найма? К тому, что баба становится неуправляемой, как курс биткоина! Когда у женщины нет четкого графика и социального пакета, она начинает искать компенсацию в амплитуде бедер.

Прохожий попытался отстраниться, но Платон Пантелеймонович уже вошел в пике. Его слог начал стремительно терять академический лоск, обрастая липким налетом кабацкой откровенности.

– Гляньте на этих «фрилансеров жизни»! – орал он, брызжа слюной. – Раньше девка знала: за станком отпахала, соцкультбыт получила – и домой, к щам. А теперь? Прекариат, едрит его в корень! Свободный график порождает свобод-

ные нравы и тугие лосины. Она же сегодня здесь, а завтра – в другом «проекте», и ноги у нее такие же нестабильные, как ее доходы. Да у нее на физиономии написано: «работаю по ГПХ, даю за лайки».

Он перешел на хриплый шепот, придвинувшись к уху остолбеневшего соседа.

– Какая там классовая борьба... Там сплошной куннилингус в коворкингах! Они ж все – временные. Понимаешь? Временные! А раз временно – значит, можно во все тяжкие. Эта кобыла на самокате – она же символ! Сверху – претензия на независимость, а под юбкой – полная незащищенность тылов, которую так и хочется... гм... проинспектировать на предмет нарушения трудового кодекса. Прекариат – это когда у бабы нет профсоюза, который запретил бы ей так бесстыдно вилять задом перед лицом вечности! Эх, в былые времена за такую «гибкую занятость» в приличных домах канделябром по темени... а нынче – демократия, фриланс и голые коленки в мазуте!

Прохожий наконец вырвался, оставив в руке Похотливого оторванную пуговицу. Платон Пантелеймонович поправил пальто, вытер пот со лба и снова стал величественен.

– Дикари, – вздохнул он, глядя вслед убегающему человеку. – Совершенно не понимают трагедии класса, лишенного устойчивой идентичности.

Препуций

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», дегустируя остывшее латте. На нем был вельветовый пиджак цвета глубокой меланхолии и пенсне, которое он протирал шелковым платком с такой тщательностью, словно очищал зеркало русской души.

Его взгляд, холодный и отполированный до блеска, скользил по лицам посетителей, не находя на них ни малейшего отпечатка интеллекта. Он сидел, прямой и несгибаемый, как истина в последней инстанции, и только едва заметное вздрагивание козлиной бородки выдавало его брезгливое отношение к немытому хаосу бытия.

– Посмотрите, – обратился он к случайному соседу по столу, указывая на окно, где уличный торговец безуспешно пытался натянуть брезент на лоток с овощами. – Какая метафизическая незавершенность! Мир – это плохо прикрытая нагота, ждущая своего демиурга. Природа, милейший, всегда стремится к сокрытию сакрального под слоем вульгарной материи.

Сосед, студент с учебником биологии, вежливо кивнул. В этот момент на улице торговец дернул за край брезента, тот с характерным чавкающим звуком соскользнул с мокрой перекладины, обнажив кучу сморщенных баклажанов.

Глаза Платона Пантелеймоновича внезапно сузились. В

них блеснул недобрый огонек фавна, застрявшего в очереди в МФЦ.

– Вот! – воскликнул он, подаваясь вперед. – Вы видели это движение? Это же чистейший символизм! Брезент соскользнул, обнажив суть. Знаете, молодой человек, современная цивилизация гибнет от избытка кожи. Мы все зашорены, мы все под чехлом. А ведь если вдуматься, вся мировая политика, все эти санкции и договоры – это просто попытка натянуть препуций на глобус.

Студент поперхнулся кофе. Платон Пантелеймонович уже не смотрел на него, его несло в бездну.

– Вы вот сидите, учитесь, а небось и не знаете, что препуций – это не просто крайняя плоть, это венец творения и одновременно его проклятие. С точки зрения гигиены и эстетики – это же складка разврата! Там, под этим нежным кожным капюшоном, копится смегма – творожистый осадок наших грехов и немытых помыслов. Если его не оттянуть вовремя, как тот брезент, начинается застой, сравнимый лишь с застоем в эпоху позднего застоя. Там ведь, пардон за мой французский, целый биом! Бактерии устраивают оргии, пока вы обсуждаете Канта.

Он перешел на заговорщический шепот, и его изысканный слог начал стремительно осыпаться, как старая штукатурка, обнажая серый кирпич подворотни.

– Вот взять бабу. Она же как этот самый карман. С виду – приличие, а внутри – вечная сырость и желание спрятать

концы в воду. Женщины, они ведь тоже своего рода препуций для мужского духа – обволакивают, сопли разводят, пока ты там внутри киснешь. А ты попробуй, оголи головку вопроса! Суть-то она в чем? В том, чтоб все было гладко и блестяло, а не вот эти кожные складки, где всякая дрянь заводится. Я вчера в трамвае видел одну – в шарф замоталась, одни глаза торчат. Тьфу! Чистый фимоз души. Никакого прохода для истинного наслаждения, одна тугая кожа и раздражение.

Платон Пантелеймонович откинулся на спинку стула, тяжело дыша. На губе у него выступила капелька пота.

– Если не промывать регулярно – и мысли, и этот самый орган – то все, пиши пропало. Зарастет все наглухо, как совесть у чиновника. Будешь ходить, мучиться, а девки будут нос воротить, потому что от тебя несет не философией, а несвежим телом и застарелым похотливым ожиданием. Вот тебе и весь катарсис, малец. Натянул – и ты эстет в галстук, стянул – и вот она, мякоть бытия, склизкая, красная, живая.

Он схватил чашку, допил холодную жижу и, подмигнув ошарашенному студенту, добавил:

– Суть бытия – в своевременном обрезании лишнего пафоса. Если вовремя не оголить реальность, под кожей ваших фантазий скопится такая склизкая каша из вранья и разочарований, что девки учуют гниль вашего достоинства за версту, так и не дав вам шанса его обнажить.

Прерогатива

В кофейном угаре дня Платон Пантелеймонович Похотливый казался скалой, о которую разбивались брызги житейской пошлости. Его внутренний взор был устремлен в эмпирии, где в строгом танце сходились параграфы и догмы.

Он ощущал себя верховным жрецом чистого разума, способным разглядеть за обыденным движением облаков и пара из чашки великую механику управления народами – ту самую незыблемую логику, что держит на плаву здание цивилизации.

– Мир, – размышлял Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне, – есть не что иное, как система делегированных полномочий. Гармония сфер держится на строгой иерархии прав.

Внимание его было поглощено понятием прерогативы. Это слово он смаковал, как выдержанный коньяк. В юриспруденции и государственном управлении прерогатива – это исключительное право, принадлежащее исключительно главе государства или высшему органу власти, не подлежащее обсуждению и стоящее выше общих правил.

Это высшая форма суверенитета: когда монарх может объявить войну или помиловать преступника не потому, что это логично, а потому что такова его священная воля.

«Как это чисто! – восторгался он. – Прерогатива – это ку-

пол, под которым скрыта сама суть власти. Это право вето бога над хаосом бытия».

В этот момент за соседний столик присела дама в излишне облегающем платье. Она неловко взмахнула рукой, подзывая официанта, и случайно задела сумочкой сахарницу. Сахар рассыпался по скатерти белыми кристаллами.

Глаза Платона Пантелеймоновича сузились. В его голове выстроилась логическая цепочка, стремительная, как падение в бездну.

– Вот вам и наглядная иллюстрация, – пробормотал он, чувствуя, как возвышенная нега сменяется лихорадочным блеском в глазах. – Прерогатива... Ведь право распоряжаться порядком вещей – это, по сути, право на хаос. А кто у нас главный агент хаоса? Женщина. Посмотрите на эту мадам. Она считает своей прерогативой вторгаться в пространство, трясти своими формами, вызывая у приличного интеллектуала немедленный прилив крови не к голове, а к областям куда более приземленным.

Он подался вперед, шепотом обращаясь к ни в чем не повинному фикусу:

– Вы думаете, король имеет право на помилование? Ерунда! Настоящая прерогатива – это когда такая вот пышная кобылица решает, дать тебе сегодня или заставить три часа слушать ее нытье про мигрень. Это ее исключительное право на насилие над мужским рассудком! Она ведь специально так села, чтобы кружево на чулке было видно – это же чистой

воды узурпация власти.

Стиль Платона Пантелеймоновича окончательно утратил петербургский лоск.

– Расфуфырилась, понимаешь, пришла тут ляжками своими прерогативу наводить. Сидит, сахар раскидала, как будто это не стол, а ее личный будуар, где она, сволочь такая, правит бал. И ведь понимает, стерва, что я сейчас смотрю не на прерогативу парламента, а на то, как у нее вырез на спине до самого копчика гуляет. Тьфу! Вся мировая политика – это просто попытка мужиков отвоевать хоть кусочек права у этих баб, которые своим естеством любую государственность в кабак превратят. Нацепила юбку по самые гланды и думает, что ей теперь все можно – и вето наложить, и войну объявить, и меня, старого дурака, до инфаркта довести своими сочными... прерогативами!

Платон Пантелеймонович вскочил, путаясь в полах собственного пальто, как в сетях вражеской разведки.

– Прерогатива у нее! Слыхали? – гаркнул он на онемевшего официанта. – Это не баба, это передвижной штаб по уничтожению морали! Сидит, ляжкой полирует стул, а у меня в штанах уже чрезвычайное положение введено и комендантский час отменен! Какое там право помилования, она же меня без ножа режет своими этими... полушариями! Все, баста! Мир катится в тартарары, потому что у монарха – корона, а у этой рыжей бестии – грудь пятого размера, и это, доложу я вам, прерогатива посильнее любой конституции!

Пользуется иммунитетом, гадина! Нацепила чулки и думает: «Я – королева, мне и вето в руки». Да я бы на это вето наложил свое... эх... полномочий не хватает! Совсем мужика зажали, никакой свободы воли, одна сплошная бабья диктатура под юбкой!

Прескриптивизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы так сильно, словно удерживал ими рушащееся здание европейской цивилизации. Перед ним лежал свежий номер газеты. Вид опечатки в заголовке причинял ему почти физическую боль – сравнимую разве что с мучениями от тесного корсета для утягивания живота и боков.

«Прескриптивизм, – думал он, поправляя пенсне, – вот единственная плотина против хаоса. Язык – это храм, где каждое слово должно стоять на своем законном месте, освященном веками. Мы, прескриптивисты, – последние хранители нормы. Мы диктуем, как должно быть, ибо знаем, что "звОнит" с ударением на первый слог – это первый шаг к каннибализму».

Он с наслаждением обкатывал в уме строгость правил. Прескриптивизм не терпит вольностей: если словарь говорит «твОрог», значит, всякий, кто говорит иначе, – лингвистический еретик. Нужно предписывать, указывать, карать и ограничивать. Порядок – это всегда жесткая вертикаль.

В этот момент за соседний столик присела барышня в неприлично легком платье. Она уронила сумочку, и из нее, кокетливо звякнув, выкатилась губная помада.

– Ах, извиняюсь! – пискнула девица, одарив Платона Пантелеймоновича мимолетным взглядом.

Глаз Похотливого дернулся.

– «Извиняюсь»? – прошептал он, и в его голосе прорезался хриплый обертон. – Вы, сударыня, изволили употребить возвратную частицу «-ся», что буквально означает действие, направленное на самого себя. Вы сами себя извинили? Какое вопиющее самообслуживание... А ведь язык, если вдуматься, это как женское естество. Его нельзя просто так «употреблять», его надо принуждать к послушанию.

Он подался вперед, и его пенсне угрожающе блеснуло.

– Вот вы, милочка, стоите на позициях дескриптивизма – мол, как пипл хавает, так и правильно? Хрен там плавал! Язык – это баба, которую надо держать в ежовых рукавицах прескрипции. Если ей не вдолбить в голову, где ставить запятую, она ж тебе на шею сядет и ноги свесит. Она ж, сука, текучая – то ей сленг подавай, то заимствования... А норма? Норма – это как строгий ошейник.

Платон Пантелеймонович уже не шептал, он по-хозяйски оглядывал декольте собеседницы, и его эрудиция окончательно приобрела багровый оттенок.

– Вы думаете, лингвистика – это про буковки? Нет, это про власть! Когда я говорю, что правильно «в аэропорту», а не «в аэропорте», я чувствую, как железный прут моей воли входит в плоть этого дряблого мира. Правила – это те же чулки со стрелками: чуть ослабил натяжение, и вся конструкция плывет к чертям собачьим. Язык должен быть тугим, как ляжка молодки, и застегнутым на все пуговицы академиче-

ского словаря.

Девушка в ужасе прижала сумочку к груди.

– Да что вы такое несете... – пробормотала она.

– Я несу свет просвещения в твои темные дебри! – рявкнул Похотливый, тяжело дыша и облизывая пересохшие губы. – Ты у меня заговоришь по Ожегову, ты у меня будешь склонять каждое числительное до седьмого пота, пока не взмокнешь от напряжения! Прескриптивизм – это не просто наука, это, мать твою за ногу через дедушкино сито, искусство обладания! Я надена на твой говор намордник из исключений и буду смотреть, как ты задыхаешься в тисках безупречного синтаксиса...

Барышня вскочила и бросилась к выходу. Платон Пантелеймонович остался сидеть, возбужденно потирая колено. Он снова посмотрел на газету. Опечатка больше не раздражала его. Она казалась ему многообещающей дырой в заборе, через которую так приятно подглядывать за бесчинствами живой речи.

Преференция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне со строго поджатыми губами. Его крахмальный воротничок впивался в кадык, символизируя жесткую этическую вертикаль.

На столе лежал томик Канта, которым Платон Пантелеймонович время от времени деликатно постукивал по скатерти, подчеркивая ритм своих глубоких, как Марианская впадина, раздумий. Окружающий мир виделся ему тончайшим механизмом, где звон ложечек о фарфор рифмовался с движением небесных сфер.

– Посмотрите, – обратился он к случайному соседу по столу, – как изящно скользит солнечный луч по этой преференции света над тенью. Преференция, мой дорогой друг, есть основа мироздания. Это латинское *praefereantia*, предпочтение одного объекта другому в силу его исключительных качеств. В экономике это льгота, в торговле – таможенный козырь, в бытии – право первородства эстетики над хаосом. Это когда ты выбираешь лучшее, потому что достоин.

Сосед, студент с немой головой, испуганно кивнул.

– Вот возьмем внешнюю торговлю, – продолжал Платон Пантелеймонович, чей голос приобрел маслянистую бархатистость. – Режим преференций позволяет товарам пересекать границы с минимальным трением. Трение... Слышите,

как звучит? Это ведь не просто сухой термин. Это когда все идет как по маслу. И вот тут, батенька, мы подходим к сути.

В этот момент за соседним столом официантка уронила поднос с эклерами. Громкий хлопок и разлетевшийся крем заставили Платона Пантелеймоновича вздрогнуть. В его глазах вспыхнул недобрый, мутный огонек.

– Вот! – вскричал он, подаваясь вперед так, что студент почувствовал запах дешевого одеколона и вчерашних пельменей. – Типичный пример нарушения режима предпочтений! Преференция – это когда баба тебе дает скидку на вход в свои покои просто за то, что ты ей в уши насс... налил литров пять сладкого сиропа про «высокое». Вы посмотрите на эту официантку. Видите, как у нее колыхнулось все, когда она нагнулась? А почему? Потому что у нее в башке никакой эрудиции, одно желание, чтоб ее в подсобке оприходовали.

Стиль Платона Пантелеймоновича начал стремительно линять, как старые обои в коммуналке.

– Преференция, говоришь? Да у нее преференция одна – найти хахалю с толстым лопатником. Видал, как она задом крутит, когда крошки сметает? Это она не порядок наводит, это она сигнал подает, мол, заходи, гость дорогой, в мои закрома бесхозные. И ведь какая сука, а? Смотрит вроде как на фиалку, а в глазах – чистый блуд и нехватка витамина «хы».

Студент попытался встать, но Похотливый мертвой хваткой вцепился в его рукав.

– Сиди, салага, слушай умного человека. Все эти ваши на-

логи и квоты – туфта для девственников. Преференция – это ведь что? Это когда одному партнеру дают льготы, а другого выставляют на мороз с голой... душой. Настоящая преференция – это когда ты ее за загривок берешь в темном углу, а она только похрюкивает от восторга. Эта вон, с эклерами, она же так и просит: «Врежь мне по наглой морде, Платон Пантелеймонович, и потащи в кусты». Посмотри на эти лодыжки, это же не ноги, это рычаги для разврата. Тьфу, аж слюна закипела. Эй, милка! – гаркнул он на все кафе. – Иди-ка сюда, покажи свои таможенные льготы, я тебе такой импорт устрою – до утра не расплатишься!

Платон Пантелеймонович с грохотом отодвинул стул, подхватил Канта и, пошатываясь от избытка собственных истин, вышел вон, бормоча под нос что-то о «беспошлинном ввозе в особо крупных размерах».

Прецедент

Платон Пантелеймонович Похотливый восседал в кофейне с таким монументальным лицом, будто он – потерянная глава Катехизиса, а официанты – грешники, не заслужившие даже епитимьи. Его пенсне сияло с высокомерием антикварного монокля, а сам он замер в позе мыслителя, у которого из всех извилин работает только та, что отвечает за презрение к современности.

Он читал книгу так глубокомысленно, что казалось, буквы под его взглядом сами собой выстраиваются в очередь на порку. В его представлении он был не просто посетителем, а духовным ревизором Вселенной, зашедшим проверить, не слишком ли вульгарно сегодня вращается земная ось.

«Мир есть не что иное, как бесконечная череда интерпретаций, – думал он, поправляя пенсне. – Все в этой жизни подчинено логике прецедента. Ведь что такое прецедент? Это фундамент цивилизации! Это случай, имевший место ранее и ставший мерилom для всех последующих похожих обстоятельств. Если один раз в английском суде решили, что кот имеет право на алименты, то отныне каждый облезлый британец может претендовать на долю в наследстве. Прецедент – это костыль истины, на который опирается хромота правосудия! Без понимания прецедентной природы бытия мы лишь атомы в хаосе».

В этот момент за соседним столиком молоденькая официантка, зазевавшись, уронила поднос. Грохот фарфора разрезал тишину, и на безупречно чистые туфли Платона Пантелеймоновича выплеснулось какао.

Персонаж вздрогнул. Его ноздри расширились. Взгляд из философского стал колючим и маслянистым.

– Прецедент! – воскликнул он, обращаясь к перепуганной девушке. – Вот вы, милочка, сейчас совершили акт, который в юридической схоластике назвали бы классическим примером. Но давайте зреть в корень. Почему вы уронили поднос? Потому что вы – плоть. А плоть всегда стремится вниз, к грехопадению.

Он наклонился вперед, и его голос из бархатного баритона превратился в зловещий хрип.

– Знаете, что такое настоящий женский прецедент? Если баба, допустим, один раз дала слабинку у сеновала под предлогом любования кометой Галлея – это и есть тот самый типический случай! Прецедент создан, господа! Понимаете, к чему я клоню? Она может потом хоть обложиться словарями Брокгауза, хоть в монахини записаться, но юридический-то факт налицо: спина в соломе, глаза в кучу. Это база, на которой строится все дальнейшее судопроизводство ее никчемной жизни. Вы же все одинаковые, вам бы только формы свои выпячивать под видом неуклюжести. Уронила она! Да ты специально это сделала, чтобы я на твои лодыжки посмотрел, пока ты тут корячишься, осколки собираешь. Я же ви-

жу, как у тебя под этим передником все так и ходит, так и просит грубого словца.

Платон Пантелеймонович окончательно отбросил книгу. Его лицо покраснело, а лексика стремительно теряла лоск, превращаясь в липкую жижу.

– Че ты глазами хлопаешь, как кобыла перед случкой? Прецедент у нее! Да я таких, как ты, в каждом кабаке пачками видел. Сначала какао на ботинки, а потом в каморке за швабрами будешь мне про прецеденты втирать, пока я тебе подол задирать буду. У вас же, баб, все через это место работает – что политика, что погода. Тучи на небе? Это небо хочет, чтоб его оприходовали. Дождь пошел? Это оно затекло все от хотения. А ты стой, стой, не уходи... Ишь, хвостом крутит, прецедентная девка! Дай-ка я тебе покажу, какой «типический случай» у меня для таких грамотных припасен...

Он потянулся к ее руке, но официантка, охнув, скрылась на кухне. Платон Пантелеймонович тяжело выдохнул, обтер туфлю салфеткой и снова нацепил пенсне.

– Впрочем, – добавил он ледяным тоном, возвращаясь к книге, – если рассматривать данный казус через призму Канта, мы увидим лишь торжество чистого разума над хаосом материи.

Прецизионность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, листая свежий номер научно-популярного вестника. Он медленно поправил пенсне, которое вечно сползало на его породистый, слегка влажный нос, и глубоко вздохнул.

«Мир – это торжество энтропии, – думал он, созерцая, как официант небрежно ставит чашку на стол. – Люди разучились ценить тонкую настройку бытия. Им неведома прецизионность – эта божественная точность, на которой зиждется гармония сфер. Ведь прецизионность, если вдуматься, есть высшая форма дисциплины материи. Это когда допуски измеряются микронами, когда деталь входит в паз с точностью до одной десятитысячной миллиметра, исключая малейший люфт, малейшее биение...»

В этот момент за соседним столом произошло досадное недоразумение: пышная дама в кричащей шляпе, пытаясь достать из сумочки зеркальце, задела ложечкой край блюда. Раздался резкий, дребезжащий звук – крохотный металлический лязг, нарушивший тишину заведения.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его левый глаз мелко задергался.

– Вы видите? – произнес он внезапно громко, обращаясь к опешившему официанту. – Вы слышите этот акустический мусор? Вот вам отсутствие прецизионности в действии! А

ведь точность – это не только про станки. Это про самую суть соития... виноват, бытия.

Он подался вперед, и в его глазах зажегся нехороший, маслянистый огонек.

– Понимаете ли, голубчик, в механике прецизионность – это когда вал и втулка сопрягаются так плотно, что между ними не просунуть и волоса. И в жизни так же. Возьмем, к примеру, женское естество. Баба – она ведь как сложный калиброванный прибор. Ей нужна точность в подходе. А нынешние? Тьфу! Разболтанность одна. Никакой прецизионности в бедрах, одни люфты и зазоры, прости господи.

Платон Пантелеймонович облизал губы, и его голос приобрел хриплый, приземистый оттенок. Величественная манера стала сползать с него, как старая побелка со стены общественной бани.

– Гляньте на эту мадам с ложкой. У нее же корсет на три размера меньше, чем та завалинка, что она в него впихнула. Где тут расчет? Где допуски и посадки? Тут же сплошное трение и перегрев подшипников! А я люблю, чтоб как по чертежу. Чтоб бабенка была притертая, как клапан в моторе. Чтоб зазоры были минимальные, понимаешь? Чтоб когда ты в нее, извиняюсь, внедряешься, вакуум создавался от точности сочленения!

Он уже не шептал, а почти рычал, игнорируя испуганные взгляды посетителей.

– А эти их юбки? Это же дефект сборки! Напридумыв-

вали рюшей, чтобы скрыть износ механизмов. Настоящая прецизионная девка должна быть гладкая, как полированный шток. Чтобы я приложил к ней штангенциркуль – и ни единого отклонения в кривизне кормы! А тут что? Рыхлая штамповка, массовое производство, брак на браке. Тьфу, никакой культуры производства в этих телесах не осталось, один сплошной некондиционный жир и расхлябанность в узлах агрегата...

Платон Пантелеймонович внезапно замолчал, вытер пот со лба грязноватым платком и снова водрузил пенсне на нос. Он уже не замечал, как дама за соседним столом поспешно прячется за меню, а администратор боком подбирается к его столику. Платон Пантелеймонович видел лишь бесконечные ряды идеально подогнанных, пышущих жаром и бесстыдством механизмов, где каждый микрон кричал о неизбежном падении в грех.

Приапизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне со свежим номером «Вестника геополитики», а в петлице его безупречного пиджака алела гвоздика – символ не столько страсти, сколько непоколебимого гражданского достоинства.

– Взгляните, – обратился он к случайному соседу по столу, указывая холеным пальцем на заголовок о кризисе в Ормузском проливе. – Мир – это хрупкий механизм, требующий деликатной настройки. Мы, люди мысли, обязаны созерцать статику бытия, дабы не погрязнуть в хаосе вульгарного движения.

Сосед, студент с томиком стихов, вежливо кивнул. Платон Пантелеймонович расплылся в благостной улыбке, поправил пенсне и уже приготовился процитировать Канта, как вдруг случилось непоправимое.

Молодая официантка, пронося мимо поднос с лимонадом, задела краем юбки ножку стола. стакан покачнулся, и ледяная жидкость с брызгами выплеснулась прямо на пах Платона Пантелеймоновича.

Он замер. Взгляд его, только что светившийся высшим разумом, внезапно остекленел. Благородная бледность сменилась багровым приливом.

– Вот оно, – прошипел он, и голос его из бархатного ба-

ритона превратился в скрипучий шепот. – Вот она, истинная природа мирового застоя. Вы думаете, это просто вода? Нет, молодой человек, это метафора жесткости, которая не знает пощады. Видите ли, в медицине существует такое понятие – приапизм. Это когда твой «скипетр власти» восстает против тебя и отказывается ложиться в гроб приличий часами, а то и сутками, без всякого, заметьте, греховного помысла!

Студент поперхнулся кофе. Платон Пантелеймонович подался вперед, забрызгивая стол слюной, его эрудиция начала стремительно гнить.

– Это вам не гусарская удадь, это чертова стагнация крови в кавернозных телах! – рявкнул он, и гвоздика в петлице поникла. – Кровь заходит в это кожаное стойло, а выхода нет! Словно блокировка Ормуза, понимаете? Тромбоз, ишемия, адская боль! Если не откачать эту дрянь шприцем, ткани сгниют к чертям собачьим, и останется у вас между ног бесполезный баклажан, пригодный разве что для компоста.

Официантка попятилась, а Платон Пантелеймонович уже вошел в раж. Его речь, некогда изящная, теперь напоминала брань извозчика в публичном доме.

– И бабы, эти сосуды скудоумия, думают: «О, какой гигант!» А гигант-то поддыхает! У него там давление, как в паровом котле, и если не пустить юшку, наступит полный некроз и финита ля комедия. Ты сидишь, как столб, а в штанах у тебя – монумент собственной глупости, который даже баба, будь она хоть трижды блудницей, не согнет. Это кара,

юноша! Наказание за то, что мы пытаемся казаться тверже, чем мы есть на самом деле!

Он вскочил, опрокинув стул. Мокрое пятно на его панталонах в лучах солнца выглядело зловеще.

– Приапизм – это и есть лицо нашей политики! – вопил он на все кафе. – Стоим колом, гнием заживо, а виду подаем, будто так и надо! Шприц мне! Несите шприц, или я сам вскрою эту плотину!

Когда полицейский выводил Платона Пантелеймоновича под белы ручки, тот все еще пытался объяснить толпе, что истинная трагедия эрекции заключается в невозможности деторождения при полном сохранении непотребного вида.

Примогенитура

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, прикрывшись свежим номером «Вестника монархиста», и всем своим видом излучал благородную меланхолию. Его крахмальный воротничок впивался в кадык с такой неумолимостью, с какой совесть впивается в грешника, но Платон Пантелеймонович терпел. Он размышлял о судьбах цивилизации, переводя взор с облака, похожего на античную руину, на свой остывающий глянсе.

«Мир держится на иерархии, – наставительно думал он, поправляя пенсне. – Без преемственности мы лишь пыль на сапогах истории. Основа основ, корень государственности – это, безусловно, примогенитура. Право первородства! О, этот божественный порядок, когда старший сын наследует все: поместья, титулы, долги и родовое проклятие, оставляя младших братьев на попечение армии или церкви. Чистота линии, неделимость домена... Как это величественно, как...»

В этот момент за соседним столиком официант, неловко взмахнув салфеткой, опрокинул на скатерть вазочку с жирными, сочащимися сиропом профитролями. Одна пироженка, описав кокетливую дугу, шлепнулась прямо на ботинок Платона Пантелеймоновича.

Он вздрогнул. Его правый глаз задергался.

– Вы видите это? – обратился он к сидевшей рядом даме

со смартфоном, указывая на кремовое пятно. – Это и есть крах системы. Нарушение порядка. А ведь все начинается с пренебрежения к примогенитуре! Если бы этот юноша-официант понимал, что такое право первенца, он бы не разбрасывался добром. Ведь примогенитура, милостивая государыня, бывает разная. Есть агнатическая, где женщины вообще не в счет – их будто и не рожали, пустое место, дырка от бублика в генеалогическом древе! Есть когнатическая, где барышням позволяют присесть на трон, только если все мужчины в роду передохли от подагры или дуэлей.

Платон Пантелеймонович подался вперед, его голос из бархатного баритона превратился в хриплый шепот, а пенсне опасно накренилось.

– А ведь в этом и суть, мадам. Первородство – это же чистая физиология. Кто первый вылез, тот и пан. Но вы только представьте себе эту агнатическую систему в действии... Это же какая суровая мужская дисциплина! Никаких бабских капризов у кормила власти. А сейчас? Посмотрите на эти профитроли. Они же как бабы в дешевом кабаке – мягкие, скользкие, внутри одна пустота и взбитые сливки.

Он облизнулся, и его взгляд окончательно потерял интеллектуальный блеск, наполнившись мутным маслянистым восторгом.

– Вот вы, мадам, небось, тоже не первородная? Сидите тут, финтифлюшки свои поправляете. А примогенитура учит нас: кто первый успел, того и тапки. В любви-с, знаете

ли, та же механика. Пока какой-нибудь старший наследник со своей агнатической спесью рассуждает о чистоте крови, шустрый младший брат уже вовсю пользуется горничную в сеновале. Потому что у него из наследства – только зуд в штанах и умение вовремя шмыгнуть под юбку.

Платон Пантелеймонович вплотную придвинулся к оторопевшей даме, обдав ее запахом табака и кофейного перегара.

– Ведь что такое наследная масса? Это же тело, мадам! Мясистое, податливое тело державы. И владеть им должен один. А не так, как у этих паршивых германцев с их разделом имущества между всеми отпрысками. Разделишь так бабу на части – и что получишь? Одной ногу, другой ухо? Нет-с, мне подавай майорат! Чтобы вся целиком, со всеми угодами и низинами, досталась одному господину. И чтоб домен был неделим, понимаете? Чтоб я зашел в эти владения, как истинный монарх, и никакой младший брат в замочную скважину не подглядывал, как я там свои регалии полирую. Эх, распустили вы, девки, примогенитуру... Раньше за право первого тисканья войны затевали, а теперь – тьфу, сплошной демократический разврат и профитроли на штиблетах!

Дама вскочила и, не дослушав лекцию о преимуществах салической правды, пулей вылетела из кофейни. Платон Пантелеймонович тяжело вздохнул, вытер пальцем крем с ботинка и, не стесняясь, облизал его, глядя вслед уходящим лодыжкам.

Пробабилизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», подпирая подбородок сухой ладонью и с глубокой скорбью взирая на мир сквозь пенсне. В его осанке угадывался не то отставной сенатор, не то непризнанный гений метафизики. В этот час он размышлял о судьбах цивилизации, сравнивая суету официантов с броуновским движением атомов в остывающей Вселенной.

– Ах, – шептал он, поправляя крахмальный воротничок, – как печально осознавать, что большинство современников барахтается в болоте догматизма, не понимая изящества вероятностных структур...

В этот момент официантка, проносившая мимо поднос, задела край стола, и чайная ложечка с мелодичным звоном упала на паркет.

Платон Пантелеймонович встрепенулся. В его глазах зажегся недобрый, фосфоресцирующий огонек.

– Вот оно! – воскликнул он, обращаясь к испуганной девушке. – Классический пример для иллюстрации теории пробабилизма! Вы ведь знаете, милочка, что такое пробабилизм? Это великое учение иезуитских моралистов XVII века. Оно гласит: если в вопросе греха или долга нет полной ясности, человек волен следовать «вероятному» мнению, даже если противоположное кажется более верным. Мы живем

в мире допущений! Нет абсолютной истины, есть лишь степень вероятности того, что вы сейчас не специально уронили этот столовый прибор, чтобы привлечь мое внимание к своим щиколоткам.

Он подался вперед, и его тон из академического стал вкрадчивым, с неприятной хрипотцой.

– Ведь пробабиллизм, если вдуматься, это ключ к любой юбке. Возьмем, к примеру, вашу... э-э... моральную устойчивость. С точки зрения строгого тутиоризма, вы – честная дева. Но пробабиллизм шепчет нам: существует хотя бы один авторитетный источник – скажем, подвыпивший почтальон или я в три часа ночи – который считает, что ваша честность под большим вопросом. А раз мнение авторитетно, значит, оно вероятно. А раз оно вероятно, то я имею полное право действовать, исходя из этой грязной, сладкой возможности!

Платон Пантелеймонович облизнул пересохшие губы. Его крахмальный воротничок окончательно обмяк.

– Понимаешь, шкура, – просипел он, переходя на доверительный бас, – все в этом мире – пробабиллизм. Ты вот стоишь, глазками хлопаешь, а по теории вероятности ты уже в камерке у шеф-повара на старом тулупе кувиркаешься. И это логично! Если есть шанс один на миллион, что ты не прочь за сто рублей показать коленки, значит, я уже могу планировать, как буду зажимать тебя у черного хода. Потому что истина – это скука для попов, а для нас, знатоков, важна лазейка! Вся эта мировая гармония – просто куча баб, кото-

рые «хайли лайкли» хотят, чтобы их потискали в подворотне. Ложка упала – значит, космос подает сигнал: пора переходить к делу, пока вероятность не обнулилась...

Официантка, не дослушав лекцию о моральном релятивизме, стремительно ретировалась. Платон Пантелеймонович снова поправил пенсне, тяжело вздохнул и записал в блокноте: «Интеллектуальный уровень общества ничтожен. Не готовы к восприятию сложных логических конструкций».

Пробанд

Платон Пантелеймонович Похотливый восседал в кофейне с таким видом, будто лично принимал роды у мировой гармонии. Его лицо выражало крайнюю степень духовного запора, свойственную лишь тем, кто считает чтение этикеток от освежителя воздуха «глубоким погружением в герменевтику».

Надменно вздернутый нос Платона Пантелеймоновича, казалось, пытался унюхать грехопадение в соседнем районе Санкт-Петербурга, а его пенсне держалось на честном слове и высокомерии, рискуя в любую секунду совершить суицидальный прыжок в чашку с цикорием.

«Ах, это броуновское движение толпы, – мыслил он, глядя в окно. – Эти экзистенциальные пустоты в глазах прохожих! Только разум, этот чистый кристалл логоса, способен структурировать хаос бытия».

В этот момент к соседнему столику подошла молодая пара. Юноша, путаясь в терминах и длинном шарфе, начал с жаром объяснять спутнице основы генетики.

– Видишь ли, дорогая, – воодушевленно произнес он, – если мы хотим понять наследственность, нам нужен пробанд. Это лицо, с которого начинается сбор родословной, тот самый «нулевой пациент» в генеалогическом древе...

Глаза Платона Пантелеймоновича внезапно остекленели.

Слово «пробанд» ударило его в темя, точно кирпич, обернутый в бархат.

– Пробанд? – прошептал он, и его голос из академического тенора сорвался в хриплый баритон. – Пробанд, говорите? О, юноша, вы даже не представляете, какую бездну вы разверзли перед моим взором. Ведь что есть пробанд в своей метафизической наготе?

Он медленно повернулся к паре, и его лицо начало странным образом оплывать, теряя черты рафинированного интеллигента.

– Вы мыслите узко, как лаборант в засаленном халате! – выкрикнул Похотливый, подаваясь вперед. – Пробанд – это не просто кружочек или квадратик в вашей сраной схеме. Это же начало всех начал, та самая отправная точка, та девка, с которой все и завертелось! Понимаете? Вот представьте: стоит она, эта ваша первородная самка, эта пробандиха, прости господи, и от нее во все стороны прут гены, как метастазы.

Он шумно втянул носом воздух, и его галстук-бабочка съехал набок.

– Мы же зачем этого пробанда ищем? Чтобы понять, откуда у внуков кривые ноги или тяга к портвейну! Мы лезем в ее белье, в ее анамнез, в ее темное прошлое. Мы смотрим на эту кобылу и гадаем: с кем она там терлась в пятом колене, что у правнука теперь уши торчат, как у осла? Это же чистая, незамутненная похоть, облеченная в форму медицин-

ской анкеты!

Юноша побледнел и попытался отодвинуть стул, но Платон Пантелеймонович уже вцепился в край их стола грязноватым ногтем.

– Генетика – это просто способ легально подглядывать в чужие спальни через лупу! Вы говорите «доминантный признак», а я вижу альфа-самца с потными подмышками! Вы говорите «рецессивный ген», а я вижу хилую девку, которая поддалась под забором за чекушку! Весь ваш мир – это огромная, вонючая куча тел, где один пробанд стоит в центре и манит всех своим доминантным седалищем. Да любая баба в этом зале – потенциальный пробанд, если к ней присмотреться с нужным градусом цинизма. Вон та, в розовом, думаете, она кофе пьет? Нет, она транслирует свои X-хромосомы, ищет, кому бы впрыснуть свою наследственную заразу, чтобы через сто лет какой-нибудь очкарик изучал ее родословную и плевался!

Платон Пантелеймонович окончательно сорвался на крик. Слюна брызнула на скатерть.

– Пробанд – это сука судьбы! Это мясо, давшее ростки! И не надо мне тут про науку, когда у нас у всех между ног генетический код пульсирует, как бешеный пес!

Когда перепуганная пара, спотыкаясь, вылетела на улицу, Похотливый мгновенно обмяк. Он брезгливо стряхнул невидимую пылинку с лацкана, вернул лицу выражение оскорбленной добродетели и величественно водрузил пенсне на ме-

сто.

– Дикари-с, – бросил он пустому залу с интонацией византийского патриарха. – Совершенно не способны возвыситься над биологической вульгарностью до чистых эмпиреев духа. Официант, мой счет!

Пробоно, pro bono

Платон Пантелеймонович Похотливый восседал в углу кофейни с таким видом, будто на его плечах покоились руины Римской империи, а в кармане жилетки – ключи от тайн мироздания.

Его взор, придавленный массивным пенсне, скользил по лицам прохожих с безгловым состраданием истинного аскета. Пока толпа суежилась в погоне за призрачным комфортом, в его голове, как в реторте алхимика, переплавлялись вековые истины.

– Тщета и томление духа, – изрек он, обращаясь к сизому пару над чашкой безвкусного ячменного напитка. – Мы заперты в темнице собственного невежества, где даже искры божественного огня заменены мигающим сиянием рекламных вывесок.

В этот момент за соседний столик приземлился молодой человек с ноутбуком. Он выглядел так, будто только что выпил всю энергию Солнечной системы.

– Представляешь, – возбужденно бросил юноша в трубку телефона, – я решил взять этот кейс pro bono. Юридическая помощь, все дела. Чистое волонтерство ради общего блага.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «пробоно» вошло в его ушную раковину, как заноза в шелк. Он медленно повернул голову, и его взгляд стал тяжелым, как чугунная

плита.

– Вы сказали «пробоно»? – голос его дрожал от нахлынувшей «эрудиции». – О, юноша, вы касаетесь основ мироздания. Pro bono publico – ради общественного блага. Это когда профессионал отдает свои таланты безвозмездно, дабы восстановить справедливость в мире, погрязшем в меркантильности. Это высший акт гражданского мужества, это... это...

Платон Пантелеймонович вдруг запнулся. Его глаза подернулись маслянистой пленкой. Логическая цепочка в его голове, начавшаяся с античных добродетелей, сделала резкий, ломающий кости поворот.

– Ведь что такое, по сути, эта ваша бесплатная помощь? – продолжил он, и голос его из бархатного баритона стал превращаться в надтреснутый шепот. – Это же чистая похоть духа. Вы отдаетесь ситуации даром. А где даром, там, мил человек, и начинается самая гниль. Вот взять бабу. Она ведь тоже иногда «пробоно» выступает, когда ей в голову моча ударит или медовухи переберет. Вы думаете, вы закон защищаете? Нет, вы как та Лерка из шестой парадной, которая за просто так всем хвост крутит, лишь бы в центре внимания оказаться.

Юноша отодвинулся, но Платон Пантелеймонович уже вошел в пике. Его высокопарный слог осыпался, как штукатурка в притоне.

– Это же сладострастие в чистом виде! – брызгал он слюной, переходя на хрип. – Ты ее, Фемиду-то эту, по углам за

бесплатно жмешь, бумаги свои в нее суешь, а она, сука такая, только и рада, что ты, дурак, без гонорара потеешь. Пробоно... тьфу! Это же как прийти в бордель и пытаться там в шахматы играть – финал-то один: все равно все кончится в койке с какой-нибудь расхристанной девкой, которая тебе вместо параграфа закона голую задницу покажет. Вот она, твоя филантропия! Сначала ты иск бесплатно пишешь, а потом у тебя уже в штанах горит от осознания собственного величия, и ты лезешь к ним всем под юбки, потому что «я же добрый, мне положено».

Он грохнул чашкой о стол. Коричневая жижа выплеснулась на его некогда белый воротничок.

– Все они – пробонно! И политика ваша, и погода! Вон тучи собрались – сейчас как дадут дождем, на халяву, всех замочат, как шлюх под брандспойтом. Грязища, слякоть, бабы потные... тьфу, мир – это один сплошной бесплатный вертеп, где каждый норовит сунуть свою бескорыстность в чужую щель!

Платон Пантелеймонович замолчал, тяжело дыша. Его пенсне сползло на кончик носа, открывая безумный, плотоядный взгляд человека, который только что доказал, что любая добродетель – это лишь прелюдия к грехопадению.

Провокативная педагогика

Платон Пантелеймонович Похотливый нес свою просвещенную плоть по весеннему бульвару с грацией породистого комода. Наш герой обладал редким даром: он умел молчать так, что окружающим становилось стыдно за свой низкий уровень IQ.

Похотливый занял стратегическое место в кофейне «Академический гусь». Вокруг шумел Санкт-Петербург, не подозревающий о своей дремучести, и Платон Пантелеймонович великодушно скользил взором по лицам посетителей и вывескам в окне, мысленно исправляя чужие грамматические ошибки. Мир в его глазах был устроен строго, иерархично и чрезвычайно прилично – как хороший швейцарский пансион, где он, разумеется, числился главным попечителем.

В этот момент за соседний столик приземлилась пара – строгая дама в очках и молодой человек с растрепанными чувствами и учебником в руках.

– Послушайте, коллега, – громко сказала дама, – ваша сухая теоретическая лекция провалилась. Студенты спали! Вам нужна провокативная педагогика.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его левое ухо хищно повернулось в сторону собеседников. Провокативная педагогика! О, этот термин заставил его мозг выстроить мгновенную, монументальную логическую цепь.

– Провокативная педагогика... – прошептал он в чашку с эспрессо, и глаза его масляно заблестели. – Какое глубокое, какое... чувственное латинское по происхождению словосочетание. Ведь что есть провокация в обучении? Это же чистый, незамутненный акт свращения ума! Это когда преподаватель, отринув ложный стыд и академические панталоны, сознательно разрушает барьеры между собой и аудиторией. Он использует юмор, тонкую иронию, даже дозированный сленг – все ради того, чтобы вонзиться в девственное сознание студента и вызвать там мощный интеллектуальный отклик! Это же педагогический экстаз, призванный повысить мотивацию, растолкать это ленивое, заплывшее жиром Это обучающегося!

Платон Пантелеймонович подался вперед, его приличный облик начал стремительно осыпаться, как сухая штукатурка. Мысли понеслись по накатанным рельсам, увлекая за собой культуру и синтаксис.

– Вот взять, к примеру, эту самую мотивацию через разрушение барьеров. Это ведь как в жизни, когда ты подкатываешь к бабе в прокуренном баре на окраине. Ты же не цитируешь ей Канта, верно? Ты снимаешь галстук, подмигиваешь и выдаешь какую-нибудь сальную шуточку, чтоб она сразу поняла: церемоний не будет. Провокативная педагогика – это когда ты берешь эту зажатую, закомплексованную деваху, в смысле – науку, и срываешь с нее эти душевные, строгие юбки параграфов! Ты оголяешь саму суть! Студенты спят? Конечно-

но, спят, если ты бубнишь как импотент на партсобрании! А ты зайди с козырей. Ты шлепни по столу крепким словцом, подмигни патлатому с задней парты, мол, хорош в телефоне залипать, щас мы эту тему раскатаем так, что у тебя искры из глаз посыплутся.

Платон Пантелеймонович перевел дух и продолжил:

– Педагог должен быть как опытный жиголо: подразнить, довести до кипения юмором, заставить суку-информацию сдаться без боя. Юмор и ирония – это же лучшая смазка для тугих мозгов! Дозированный мат-перемат, легкий стеб – и вот уже девки на первой парте не конспекты строчат, а дышат часто-часто, потому что знания в них входят как по маслу. Да любая бабища, даже самая злая министерская проверка, поплывет, если устроить ей этот... как его... интерактивный абьюз на кафедре. Разрушать барьеры надо жестко, с корнем вырывать эти заборы приличий, чтобы между тобой и аудиторией только пот, драйв и голые, бесстыжие факты!

Строгая дама за соседним столиком поперхнулась латте и испуганно уставилась на Платона Пантелеймоновича, с губ которого уже капала слюна буйного просвещения. А он, окончательно расстегнув пиджак и вытирая вспотевшую шею, победоносно смотрел вдаль, уверенный, что только что вывел идеальную формулу современного образования.

Провокация

Платон Пантелеймонович Похотливый замер за столиком с выражением такой бескрайней значительности, словно мироздание ежесекундно запрашивало у него разрешение на вращение земной оси.

На коленях у него покоился томик Шопенгауэра, а в глазах застыла скорбь о несовершенстве мироздания. Он созерцал прохожих через пенсне, мысленно облачая их в тоги и приписывая им стоические добродетели.

– Эфемерность бытия, – шептал он, глядя на пролетающий тополиный пух, – суть лишь прелюдия к вечному покою духа. Мы все – искры в костре Творца.

В этот момент за соседний столик приземлилась шумная компания. Официант, торопясь угодить гостям, неловко взмахнул подносом, и одна-единственная капля вишневого сиропа сорвалась вниз, бесцеремонно шлепнувшись на белоснежную скатерть прямо перед Платоном Пантелеймоновичем.

Платон Пантелеймонович замер. В его голове заскрежета-ли шестеренки.

– Обратите внимание, господа, – произнес он вдруг громко, обращаясь к пустоте, – каков символизм! Эта алая клякса на девственном полотне... Ведь это чистой воды политическая провокация мирового масштаба. Мы видим здесь

аллегория на действия западных держав: они так же бесцеремонно вторгаются в суверенное пространство нашей тихой гавани, пытаясь вызвать ответную реакцию, спровоцировать хаос ради личной выгоды!

Он подался вперед, и его пенсне угрожающе качнулось.

– Но что есть провокация в своей первооснове? Это ведь зов. Это дерганье за ниточки низменных инстинктов. Вот и правительство наше – как та бабенка из второй парадной, Зинка. Тоже, знаете ли, выйдет на балкон в одном исподнем, семечки лузгает и вроде как на небо смотрит. А сама, стерва, знает, что я на нее гляжу. Это же чистая замануха, психологический прессинг!

Платон Пантелеймонович облизнул сухие губы, и его тон растерял остатки петербургского лоска.

– И вот ты стоишь, как дурак, смотришь на эти ее «геополитические высоты», а в башке уже не Шопенгауэр, а как бы эту провокаторшу за загривок да в каморку. Потому что вся мировая дипломатия – это когда тебе филейной частью крутят, обещают безвизовый режим, а в итоге ты сидишь с пустым кошельком и чесоткой. Зинка-то тоже: глазки строила, про высокие материи втирала, а как до дела дошло – «дай тысчонку на папиросы». Тьфу! Все они, и политики, и бабы, на одном станке точены – сперва разогреют своей провокацией, а потом ты виноват, что у тебя штаны жмут и в душе скверно.

Он громко шлепнул ладонью по столу, перевернув чашку.

– Вот и ты, девка! – заорал он на проходящую мимо даму в строгом костюме. – Ишь, застегнулась до подбородка, стерва! Провоцируешь, значит? Хочешь, чтоб я думал, будто там у тебя Российская национальная библиотека? Да знаю я вас, кобыл драных! Под этим пиджаком у тебя такие же потные булки, как у всех, и ждешь ты только случая, чтоб раздвинуть свои...

Охранник заведения мягко, но решительно взял Платона Пантелеймоновича под локоть.

– Позвольте, – бормотал Похотливый, упираясь и пытаюсь укунить охранника за рукав. – Это же чистая диалектика! Провокация – это щель в заборе приличий, куда каждый кобель норовит сунуть нос! Вы не имеете права прерывать философский дискурс! Все вы – подстилки мирового хаоса!

Продуцент

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне и с видом утомленного демиурга взирал на суету бытия. В его сознании, словно в античном портике, прогуливались тени великих: тут Кант поправлял пенсне, там Спиноза шлифовал линзы.

Мировая гармония, по мнению Платона Пантелеймоновича, зиждилась на строгой иерархии смыслов, где он сам занимал место где-то между просвещенным монархом и верховным жрецом эстетики.

– Взгляните на этот закат, – обратился он к официанту, небрежно поправляя шелковый пластрон. – В нем чувствуется некая телеологическая завершенность, не находите? Природа выступает здесь как высший продуцент, генерирующий визуальные смыслы для нашего бренного взора.

Официант, юноша с глазами испуганного оленя, лишь молча переставил чашку. Платон Пантелеймонович вздохнул о скудости умов. Его мысли переключились на термин «продуцент». В биологическом смысле это ведь основа основ – организмы, способные производить органические вещества из неорганических с помощью фотосинтеза или хемосинтеза. Растения, водоросли, автотрофы. Без них мир – сухая пустыня, без них нет жизни, нет первичной биомассы, которую потом сожрут консументы.

И тут случилось оно. За соседним столиком пышная дама в леопардовом манто случайно опрокинула на себя вазочку с зеленым фисташковым мороженым. Зеленая жижа медленно поползла по рельефному бюсту.

В глазах Платона Пантелеймоновича вспыхнул недобрый, маслянистый огонек. Философская плотина дала трещину.

– Вот оно, господа! – воскликнул он, подаваясь вперед, и голос его из бархатного баритона превратился в хриплое карканье. – Вы видите этот хлорофилловый оттенок на ее фасаде? Это же символ! Продуцент – это не просто травка в поле, это метафора первичной энергии, которая питает все наше скотское существование. Вот эта мадам, она же как жирная почва, ждет своего сеятеля. Понимаете, к чему я клоню?

Он облизнулся, и его благообразный облик начал стремительно линять, как дешевые обои в притоне.

– Все эти ваши фотосинтезы – чушь для институток! Настоящий продуцент – это когда баба так наливается соками, что хоть сейчас в силосную яму кидай. Гляньте, как у нее это мороженое между буферов затекло, а? Чистая органика! Она же сама как перезревшая грядка, так и просит, чтоб ее хорошенько вспахали ржавым плугом. Какая там политика, какой Кант? Все сводится к одному: как бы затащить эту клумбу в чулан и показать ей, как работают настоящие «природные силы».

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, его лохотенный вид окончательно испарился.

– Вы посмотрите, как она это вытирает! Как потная кобыла после сенокоса. Эй, милочка! – крикнул он, окончательно переходя на хриплый лай. – У тебя там под леопардом, небось, целый тропический лес заперл? Вот где настоящий биоценоз, вот где жизнь кипит, в этих складках жирных... Слышь, ты, продуцентка недоделанная, иди сюда, я тебе покажу, как органику перерабатывать!

Официант уже занес руку, чтобы позвать охранника, но тут произошло нечто непредвиденное. Вместо того чтобы упасть в обморок или разразиться визгом, дама в леопардовом мантио медленно повернула голову к Платону Пантелеймоновичу. Ее глаза, до этого казавшиеся сонными, сверкнули тем же лихорадочным блеском, какой бывает у патологоанатомов при виде редкой патологии.

Она небрежно слизнула фисташковую каплю с пальца и проговорила голосом, в котором медовая тягучесть профессорской кафедры смешивалась со скрежетом портового кабака:

– Послушайте, вы, недотыкомка в панталонах... Ваша дедукция хромает на обе ноги, как сифилитичный сатир. Вы изволили упомянуть продуцентов? Как тонко, как претенциозно! Но вы, как типичный маскулинный шовинист, забыли, что автотрофы – это самодостаточные единицы. Им не нужен ваш «ржавый плуг», чтобы синтезировать энергию из квантов света.

Она шагнула к нему, и Платон Пантелеймонович неволь-

но вжался в спинку стула. Дама нависла над ним, обдав ароматом тяжелых духов и запахом свежего перегноя, исходившим от ее декольте.

– Если я – продуцент, – продолжала она, понижая голос до интимного рыка, – то вы, сударь, даже не консумент первого порядка. Вы – типичный редуцент. Сапротроф! Существо, которое питается исключительно гнилью, падалью и тем, что осталось от чужого банкета жизни. Вы же только и можете, что копаться в чужих нечистотах своими мыслишками, разлагая высокую эстетику до уровня привокзального нужника.

Она вдруг бесцеремонно схватила его за галстук и притянула к своему лицу. Ее манеры окончательно превратились в лохмотья.

– Слышь, ты, философ кофейный... Думаешь, под этим леопардом тропики? Да там такая экосистема, что твой вялый «пестик» отсохнет в первую же секунду от токсичного шока. Ты мне про влажный перегной задвигаешь? Да я тебя самого в этот перегной закатаю так, что из тебя только лопухи для подтирки вырастут. У меня там, милок, не просто биоценоз, у меня там хемосинтез в условиях абсолютной тьмы и высокого давления.

Она плотоядно оскалилась, и Платон Пантелеймонович с ужасом заметил, что у нее на зубе прилип кусочек укропа, похожий на маленького изумрудного паразита.

– Хочешь посмотреть на мою «первичную продукцию»? – прохрипела она, запуская руку в глубокий карман манти и

выуживая оттуда помятый, сочащийся соком огурец. – Видишь этот плод фотосинтеза? Он крепкий, зеленый и пупырчатый, в отличие от твоих дряблых силлогизмов. Иди-ка сюда, мойдохлый консумент, я научу тебя, как правильно утилизировать органические отходы в условиях замкнутого пространства за этой ширмой...

Платон Пантелеймонович почувствовал, как его хваленая эрудиция превращается в жидкий кисель. Он, привыкший быть единственным агрессором в этом мире тонких материй и толстых намеков, вдруг осознал: его зажали в угол профессиональным гербарием.

– Позвольте... – пролепетал он, пытаясь восстановить статус-кво. – Мы же в приличном собрании! Эстетика производителя подразумевает созерцание, а не... не этот ваш биологический террор!

– Заткнись, сапрофит! – рявкнула дама, хватая его за шиворот мощной пятерней. – Сейчас мы проверим твою теорию на практике. Перейдем от фотосинтеза к прямому поглощению.

Она потащила его в сторону подсобного помещения, мимо онемевшего официанта, который только и смог, что перекреститься меню. В тесном чулане, среди швабр и мешков с необжаренным кофе, пахло пылью и застоявшимся вожделением. Платон Пантелеймонович оказался прижат к стеллажу с моющими средствами.

– Смотри на меня, ты, жертва естественного отбора! –

прошипела дама, срывая с него пластрон. – Ты хотел «грязной органики»? Ты хотел видеть, как природа берет свое? Так вот, я – твоя экологическая катастрофа. Мой метаболизм требует жертв, и твой хилый гуманизм пойдет на удобрения.

Она притерлась к нему всем весом своего леопардового могущества. Платон Пантелеймонович почувствовал, что его костлявые колени упираются в нечто мягкое, но пугающе неотвратимое, как сель.

– О, этот запах! – вдруг взвыл он, теряя остатки человеческого облика. – Это же запах гниения высших порядков! Ваше манто пахнет как свалка в июльский полдень, и это... это божественно! Вы – не просто продуцент, вы – черная дыра в пищевой цепочке!

– Соси лапу, философ! – хриплым басом отозвалась она, впиваясь в его губы ртом, в котором вкус фисташкового мороженого смешался с привкусом дешевого табака и ярости. – Сейчас я покажу тебе, как в природе происходит круговорот веществ. Ты у меня не просто выделишь энергию, ты в ней захлебнешься!

В темноте чулана послышался треск рвущейся ткани – это безупречные панталоны Платона Пантелеймоновича не выдержали натиска стихийной силы. Высокопарные мысли о Канте окончательно сменились влажным чавканьем и животными стонами.

В этой тесной коморке два безумца нашли свою нирвану:

среди грязных тряпок и ведер они самозабвенно превращали свою эрудицию в первобытный ил, доказывая, что в конечном счете любой продуцент заканчивает свои дни в объятиях самого ненасытного потребителя.

Прозелитизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», скрестив ноги так изысканно, будто его скелет был отлит из слоновой кости. Перед ним лежал томик Канта, а в глазах застыла скорбь о судьбах европейской цивилизации.

Весеннее петербургское солнце, это бесстыжее светило, золотило его солидную залысину, а в голове у Платона Пантелеймоновича плавали образы столь возвышенные, что обыватель, глядя на него, непременно захотел бы покаяться в грехе невежества.

– Мироздание, – шептал он, едва шевеля губами, – есть лишь отзвук великой тишины, в которой дух ищет своего отражения.

Его взгляд упал на группу молодых людей за соседним столиком. Они горячо обсуждали что-то, активно жестикулируя.

– Да поймите вы, – донеслось до уха Платона Пантелеймоновича, – это чистой воды прозелитизм! Они просто пытаются переманить всех на свою сторону, не считаясь с логикой.

Платон Пантелеймонович замер. Термин «прозелитизм» подействовал на него как запах валерьянки на кота, но кота, обремененного пятью неоконченными высшими образо-

ваниями. Он медленно поправил пенсне.

– Прозелитизм... – произнес он, обращаясь в сторону испуганной официантки. – Милочка, осознаете ли вы масштаб драмы? Ведь прозелитизм – это не просто стремление обратить другого в свою веру. Это яростная, почти животная потребность навязать свое мироощущение, это экспансия духа! Это когда неофит, едва обсохнув после купели новой идеи, бросается на ближнего с целью поглотить его волю. Это же метафизическое насилие над личностью!

Официантка попятилась, а Платон Пантелеймонович уже вошел в раж. Его голос стал ниже, а высокопарный штиль начал давать трещину, сквозь которую полезло нечто липкое.

– Ведь что такое прозелит? Это же, по сути, тот же тип, что и в любви... если это можно назвать любовью. Вот идет такая баба по улице, вся из себя в духовных исканиях, а ты ей – р-раз! – и свою веру в неокрепший ум вливаешь. Это же как с этой... как ее... Лизкой из академии наук. Она мне про Канта, а я вижу – глаза-то бегают, ищет, кому бы поддаться. Прозелитизм, ангел мой, это когда ты ее к стенке прижал и начинаешь в уши дуть про спасение души, а сам уже прикидываешь, как у нее под юбкой эта самая душа устроена.

Он подался вперед, смахнув чашку с кофе. Коричневая жижа потекла по столу, напоминая о бренности бытия.

– И вот она, дура, верит! Думает – приобщение к истине. А это просто голый инстинкт доминирования. Я ей говорю: «Лизонька, отрекись от прошлого, иди в мою секту любите-

лей прекрасного». А сам смотрю, как у нее пуговицы на кофе от натуги трещат. Это ж высший пилотаж – так заболтать бабу, чтоб она сама колготки сняла во имя великой идеи. Все эти пророки – те еще кобели, я вам скажу. Чем выше слог, тем грязнее помыслы. Мы же все, по сути, ловим этих овечек на крючок веры, чтоб потом, в темном углу, показать им настоящий, так сказать, догмат без прикрас.

Платон Пантелеймонович облизал губы, и его глаза, еще минуту назад горевшие огнем интеллекта, теперь маслянисто блестели, как два куска залежалого сала.

– Так что прозелитизм – это, считай, прелюдия. Сначала ты ей цитируешь Писание, а через пять минут она у тебя в камерке уже изучает устройство мироздания в горизонтальном положении. И никакой Кант тут не поможет, когда в дело вступает старый добрый основной инстинкт под соусом духовного возрождения.

Он громко икнул и полез в карман за платком, случайно вытащив вместе с ним засаленную фотографию из журнала для взрослых.

Прокрастинация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подперев челюсть указательным пальцем – жестом, который, по его мнению, придавал ему сходство то ли с роденовским «Мыслителем», то ли с министром иностранных дел в момент принятия судьбоносного решения. Перед ним остывало латте.

«Мир, – мысленно изрекал Платон Пантелеймонович, помешивая ложечкой напиток, – есть не что иное, как бесконечная анфилада нереализованных потенций. Мы все пребываем в состоянии экзистенциального замирания. Взгляните на этот социум. Энтропия духа. Люди суетятся, не осознавая, что истинное бытие сокрыто в созерцательной лени».

Платон Пантелеймонович как раз предавался изысканному анализу феномена прокрастинации. Он считал ее не пороком, а высшей формой интеллектуального гуманизма.

«Что есть откладывание дел на потом? – вопрошал он внутренним голосом, напоминая звук виолончели. – Это сложный нейробиологический танец между префронтальной корой и лимбической системой. Мы не просто бездельничаем. Мы бережем свои ментальные ресурсы от вульгарного соприкосновения с реальностью. Прокрастинатор – это архитектор несбывшихся возможностей, он строит храмы из намерений, которые никогда не будут осквернены за-

вершением».

В этот момент за соседний столик присела барышня в нежно-голубом платье. Она достала из сумочки зеркальце и принялась поправлять локон. Зеркальце пустило солнечный зайчик, который на мгновение ослепил Платона Пантелеймоновича.

Щелкнуло.

– Вот видите! – воскликнул он вдруг вслух, обращаясь к перепуганному официанту. – Типичный пример экзистенциального паралича! Она уже десять минут смотрит в стекло, вместо того чтобы созидать. Но в этом и кроется корень женской природы. Женщина – это ведь и есть воплощенная прокрастинация. Она манит тебя обещанием счастья, а на деле только тянет резину, как жеваную ириску на батарее.

Платон Пантелеймонович подался вперед, его пенсне хищно блеснуло.

– Ведь что такое девка? Это же чистый саботаж рабочего процесса. Ты думаешь: «Вот сейчас я напишу трактат о судьбах Отечества», а в голове у тебя уже вертятся ее ляжки, как окорока на вертеле. И ты сидишь, слюни пускаешь, откладываешь перо, потому что представляешь, как эта голубая юбка задирается выше ватерлинии.

Он шумно втянул воздух, и его высокопарный тон окончательно дал трещину, обнажив нечто приземленное и хриплое.

– Вся эта ваша «прокрастинация» – просто ширма для по-

хотливого кобеля! – почти прорычал он. – Мы ж почему дела-то не делаем? Потому что ждем, когда какая-нибудь мадам вильнет кормой, чтоб мы могли за ней увязаться. У нас в башке не «лимбическая система», а сплошной бордель с немывтыми полами. Вот эта фифа за соседним столом – она ж специально губы красит, чтоб я отчет в налоговую не дописывал. Она – мой главный недострой! Я бы ее так прокрастинировал в подсобке, чтоб у нее все шестеренки заклинило. Тянешь, тянешь до последнего, а потом – бах! – и вместо годового отчета у тебя в руках только расстегнутый лифчик и полное опустошение.

Платон Пантелеймонович с грохотом отодвинул стул, его лицо побагровело.

– Прокрастинация, батенька, – это когда ты хочешь вдуть всему миру, но ссышь подойти, и поэтому просто сидишь и чешешь свое эго под столом! Ладно, пойду допишу отчет... завтра.

Он встал, неловко задев столик, и направился к выходу, тяжело дыша и провожая плотоядным взглядом каждую юбку, попадавшуюся на пути его великого интеллектуального поиска.

Пролиферация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с той особенной миной государственного значения, которая обычно свойственна либо старым академикам, либо людям, не имеющим к науке никакого отношения. Перед ним лежал «Вестник цитологии», и Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне, чувствовал себя едва ли не демиургом, созерцающим хаос бытия сквозь призму строгой биологической дисциплины.

– Мироздание, – веско шептал он в пенку своего латте, – есть не что иное, как фрактальный танец деления. Взгляните на пролиферацию! Это же гимн жизни. Клетка, сей кирпичик сущего, увеличивает массу за счет синтеза органелл и ДНК, а затем – хлоп! – и их уже две. Цитокинез, господа, есть высшая форма порядка. Когда ткань разрастается в процессе регенерации или нормального роста организма – это божественная симметрия.

Тут его взгляд упал на молоденькую официантку, которая, неловко повернувшись, задела подносом край стола. Несколько капель сливок упали на его лакированный ботинок.

– Ах, дитя мое, – начал Платон Пантелеймонович, и голос его из академического баритона вдруг превратился в маслянистый тенор. – Вы только что продемонстрировали мне на-

глядную иллюстрацию патологической пролиферации. Ведь когда деление клеток выходит из-под контроля, когда они начинают плодиться без удержу, наплевав на апоптоз – это уже, простите, опухоль. Злокачественное разрастание! Как и ваши формы, милочка...

Он откинулся на спинку стула, и благообразная маска эрудита начала сползать, обнажая нечто донельзя плотоядное.

– Вот вы идете, юбка трещит, клетки ваших бедер, небось, делятся с такой яростью, что никакой гистолог не разберет. Это же чистый вертеп под кожей! Пролиферация – она ведь как баба в кабаке: сначала вроде приличная, делится по протоколу, а потом как пойдет в разнос, как начнет наращивать мясо во все стороны, только успевай венеролога звать. Вы думаете, это биология? Нет, это распутство на молекулярном уровне.

Платон Пантелеймонович наклонился вперед, обдавая испуганную девушку запахом дешевого коньяка и застарелого превосходства. Его речь стала тяжелой, как мокрое сукно.

– Посмотри на себя, девка. Твои фибробласты небось так и прут, так и пухнут под этим фартуком. Это ж не рост организма, это натуральный блуд деления. Клетки твои, видать, совсем стыд потеряли, лезут друг на друга, множатся, как кролики в грязной клетке. Ткань-то разрастается, а? Сама-то чувствуешь, как в тебе эта опухоль бабьей дури пухнет? Скоро ж из берегов выйдешь, никакая цитостатика не удержит твою похоть клеточную. Жрешь, небось, в три горла, чтоб

метастазы своей красоты по всему залу раскидывать?

Официантка попятилась, а Платон Пантелеймонович, уже не стесняясь, разглядывал ее лодыжки, что-то удовлетворенно бормоча о «бесконтрольном митозе» и «сочных мишенях для биопсии». В его голове все сошлось: и величие науки, и та мутная, вязкая жижа, которую он привык называть платонической любовью.

Пролонгация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, облаченный в бархатный пиджак цвета просроченного кредита, и с достоинством истинного патриция обозревал окружающее ничтожество. Его пенсне гневно поблескивало, отражая заголовок утренней газеты: «Пролонгация зерновой сделки: перспективы и риски».

«Пролонгация... – мысленно смаковал он, поправляя галстук-бабочку. – Само это слово дышит античным достоинством. Это ведь не простое продление срока, это экзистенциальный акт воли, заставляющий неумолимый Хронос застыть в реверансе перед нуждами цивилизации. Как важно в нашем бренном мире уметь длить момент, растягивать государственную необходимость, словно патоку...»

В этот миг официантка, ставя на стол чашку, неловко задела сахарницу. Белые кубики рассыпались по скатерти, а сама девушка, охнув, замерла в полусогнутой позе, пытаясь их собрать.

Глаза Платона Пантелеймоновича мгновенно остекленели. Благородная латынь в его голове вдруг сменилась хриплым придыханием.

– Вот вы, милочка, сейчас замерли, – произнес он вслух, и голос его из академического баритона превратился в маслянистый дребезг. – А ведь это и есть живая иллюстрация

пролонгации. Продление... затягивание процесса. Вы же понимаете, что в глобальном смысле любая пролонгация – это когда ты хочешь, чтобы удовольствие не кончалось, а оно, сука, так и норовит сорваться в финал.

Официантка испуганно взглянула на него. Платон Пантелеймонович подался вперед, обдавая ее запахом дешевого одеколона и непрошенной мудрости.

– Вот взять ту же зерновую сделку, – продолжал он, и его лексикон начал стремительно осыпаться, как штукатурка в притоне. – Все эти министры в галстуках только и думают, как бы им подольше «пролонгировать» свои полномочия. Это же чистый секс, детка. Они мнут это решение, тянут кота за все подробности, лишь бы не вынимать инвестиции из общего котла. Пролонгация – это когда ты уже весь в мыле, ресурс на исходе, а тебе надо еще пятнадцать минут изображать энтузиазм, чтобы электорат не разочаровался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.